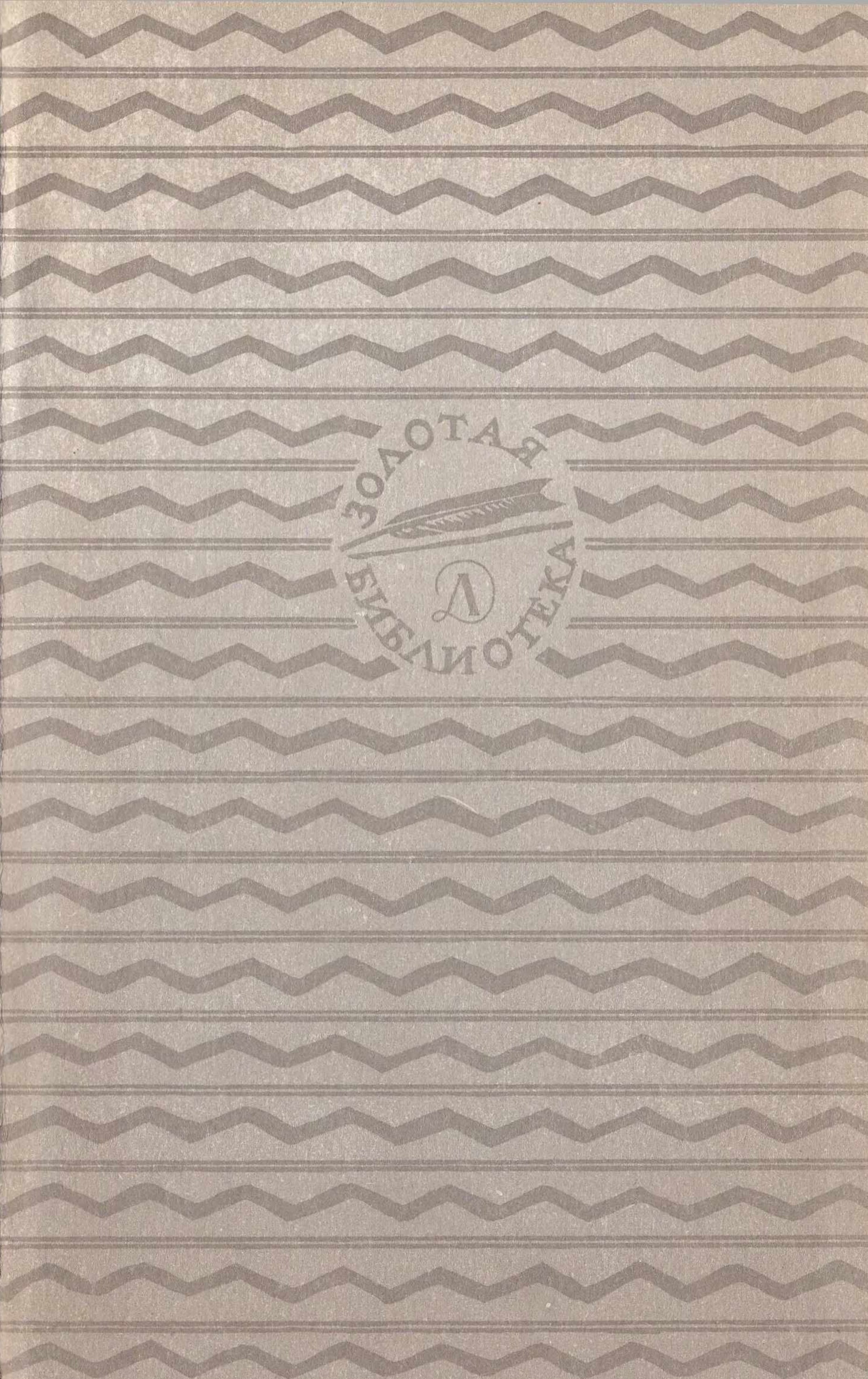
ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА

А. НЕВЕРОВ

ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ


Золотая
библиотека
Д



Избранные произведения для детей и юношества

А. НЕВЕРОВ

ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

Повесть

Москва

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

Рисунки *П. Пинкисевича*

Оформление *И. Фоминой*

Неверов А. С.

Н40 Ташкент — город хлебный: Повесть/ Рис. П. Пинкисевича. Оформл. И. Фоминой.— М.: Дет. лит., 1983.— 111 с., ил.— (Золотая б-ка).

В пер.: 35 коп.

Повесть известного советского писателя рассказывает о страшном поволжском голоде 1921—1922 гг., о том, как герой повести подросток Миша Додонов едет добывать хлеб для своей матери и младших братьев.

Н $\frac{4803010102-084}{М101(03)83}$ 283—83 Р2

ПОВЕСТЬ О ВЕРЕ В ЛЮДЕЙ

Книга, которую ты, юный читатель, взял в руки, написана одним из старейших наших художников слова, из тех, что стояли у истоков советской литературы.

Александр Неверов — это литературное имя писателя, его псевдоним. Так он подписывал свои книги. Настоящая его фамилия — Скобелев.

Александр Сергеевич Скобелев родился в крестьянской семье еще в конце прошлого века, в 1886 году. Нелегким было его детство. И совсем не просто было ему получить образование.

Двадцати лет начал он учительствовать в сельских, деревенских школах. Этот учитель отличался демократическими взглядами, пропагандировал среди крестьян революционные идеи своего времени. Царские слуги занесли учителя Скобелева в списки «возмутителей крестьянских общин», «государственных преступников», он зачастую подвергался обыскам, за ним был установлен тайный полицейский надзор.

Постепенно, один за другим, появляются рассказы нового писателя. Он получает советы, которые можно назвать уроками, от таких мастеров литературы, как Максим Горький, как Владимир Галактионович Короленко.

Впоследствии Александр Неверов посвящает себя литературной, общественной деятельности. В годы гражданской войны, в начале двадцатых годов он пишет и стихи, и агитационные произведения для сцены, статьи, листовки. Ведет редакторскую работу в журналах, работает в литературных объединениях. Живет он в Самаре (так назывался прежде город Куйбышев), потом в Москве.

В книгах Неверова перед нами предстает жизнь дореволюционной деревни и деревни первых послеоктябрьских лет. Он писал рассказы и очерки, создал также немалое число пьес.

Наиболее известные его произведения — повести «Андрон непутевый», «Ташкент — город хлебный», незавершенный (писатель умер в 1923 году) роман «Гуси-лебеди».

«Ташкент — город хлебный» — самое сильное из всего, что создано писателем.

Эта повесть уже вскоре после своего появления, в двадцатые годы, получила высокую оценку из уст таких выдающихся знатоков литературы, как А. В. Луначарский, А. К. Воронский. Тогда же приветствовал ее появление писатель Федор Гладков.

Примечательна история создания повести. В основу ее легло многое, увиденное автором и пережитое непосредственно, почерпнутое в самой гуще жизни.

Суровые годы переживала наша страна, только что завоевавшая Советскую власть и отстоявшая ее в жестоких битвах гражданской войны, разгромившая полчища белых армий и войска интервентов. К тяготам хозяйственной разрухи — последствию первой мировой войны и войны гражданской — прибавилось свирепое стихийное бедствие: страшная засуха в Поволжье, принесшая с собою голод. Голод косил людей.

Из опустошаемых голодом — в буквальном смысле слова опустошаемых — приволжских степей хлынули потоки людей, еще не окончательно потерявших силы, способных передвигаться, хлынули к востоку, в надежде на спасение. Там лежали земли, куда не простерся голод, где природа щедро отдавала людям свои дары. Это и манило, влекло измученных людей, исстрадавшихся, уже видевших смерть совсем рядом в своих домах. И главной была надежда на хлеб, на обильные урожаи пшеницы на плодородных полях Средней Азии.

Отправился добыть в Ташкенте хлеба для своей семьи и Александр Сергеевич Неверов. Он собственными глазами видел все то, что так поразило его юного героя — двенадцатилетнего путешественника Мишку Додонова.

Ужасающие картины людского горя, человеческого ожесточения наблюдает Мишка на всем пути своей поездки из родной деревни в Ташкент. Порою кажется и ему самому и читателю, что вот-вот, сейчас Мишка упадет, окончательно обессилев, и погибнет, что иного выхода нет и быть не может, что нет сил у человека — да еще такого маленького человека, ребенка,— противостоять неумолимой беде. Спутник Мишкин — Сережка, который моложе его всего на год, именно так и умирает. Он становится жертвой еще одного грозного врага — тифа. Мишке удается спастись, более того — осуществить свою наивную, страстную мечту: привезти домой матери хоть немного хлеба, которого все заждались.

Не пристрастие писателя к изображению мрачных картин водило его

пером, когда он описывал самые бесчеловечные сцены, борьбу одиночек за собственную жизнь против ожесточившейся толпы или борьбу одиночек против одиночек...

Находит Мишка в пути нового надежного друга, тоже скитальца, беспризорника, которого зовут Трофимом. В уже отчаявшемся, изверившемся было парнишке, герое повести, вновь рождается спасительная вера в то, что есть на земле хорошие люди. Эта вера набирает силу, когда Мишка встречает на своем пути таких людей, как чекист Дунаев, как железнодорожный машинист Кондратьев. Их помощь и поддержка спасают Мишкину жизнь, спасают Мишкину душу от губительного безверия.

Воспроизведение жестокого в жизни во всей его отвратительной наготе сочетается в повести с не менее ярким, не менее убедительным изображением героической романтики свершаемого человеком, чистоты и благородства во взаимоотношениях между людьми.

Читателю может показаться непонятной некоторая вычурность слога, его манерность. Это выражается в изменении обычной расстановки слов, в несколько искусственной ритмизации речи и в других особенностях манеры автора вести рассказ.

Они объясняются главным образом своего рода литературной модой тех лет, поисками формы, пригодной для воплощения новаторского содержания. Для изображения народной жизни — так считали многие писатели — художнику нужны особые краски, особые изобразительные средства. Их искали в слоге, присущем народной легенде, былине, сказке — созданиям фольклора.

(Следует предупредить юного читателя о природе одной детали в повествовании. Узбеков называют в повести остро оскорбительным для этого народа словом «сарт». Бранное, рожденное шовинистическим высокомерием, слово это было в царской России официальным наименованием.)

Повесть «Ташкент — город хлебный» вошла в золотой фонд советской литературы. Она издавалась и издается огромными тиражами, переведена на множество языков у нас в стране и за рубежом.

Написанная незадолго до внезапной смерти писателя, она живет и ныне.

Ю. Лукин



Федору Васильевичу
Гладкову

1

Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими братишками. Младшему четыре года, среднему — восемь. Самому Мишке — двенадцать. Маленький народ, никудышный. Один каши просит, другой мельницу-ветрянку ножом вырезает — вместо игрушки. Мать с голодухи прихварывает. Пойдет за водой на реку, насилу вернется. Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих. Умер дядя Михайла, умерла тетка Марина. В каждом дому к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить.

Крепко задумался Мишка.

Семья большая, работники маленькие. Он самый надежный. Отец так и сказал перед смертью:

— Ты, Мишка, за хозяина будешь.

Вышел на улицу Мишка, мужики Ташкент поминают. Хлеб очень дешевый там, только добраться трудно. Туда две тысячи верст, оттуда две тысячи верст. Без денег нельзя: за билет надо дать и за пропуск надо дать.

Долго слушал Мишка, спросил:

— А маленьким можно туда?

— Или ехать хочешь?

— А что будет? Залезу в трещину — меня не увидят.

Смеются мужики:

— Нет, Мишка, тебе придется дома сидеть. Не такие головы назад вертаются. Порасти еще годков пяток, тогда поедешь.

А Мишка не верит мужикам. Знает, Ташкент — город хлебный, ничего не боится. Станет пугаться немножко, тут же успокаивает себя: «Попробуй, чай, ты не девчонка. Подавать не станут — на работу наймешься. Целое лето плугом пахал заместо отца, лошадей умеешь запрячь. Это только годов тебе немного, на делах тебя большой не догонит».

Крепко задумался Мишка.

Не выходит из головы Ташкент — город хлебный. Станет на глаз прикидывать: две тысячи верст — совсем недалеко. Пешком если — далеко. Сесть на чугунку — в три дня долетишь. А пропуск совсем не нужен. Увидят — мальчишка маленький едет, скажут: не троньте, товарищи, это Мишка голодающий. Какая в нем тяга. Полпуда не будет со всеми потрохами. Выгонят из вагона — на крыше два дня продержаться можно. Лазал он на деревья за грачиными гнездами, это похуже, чем крыша, все-таки не падал...

Увидал дружка своего Сережку Карпухина, годом помоложе, обрадовался:

— Айда двое с тобой!

— Куда?

— За хлебом в Ташкент. Двоим веселее. С тобой что случится — я помогу. Со мной случится — ты поможешь. Все равно не прокормимся мы здесь.

Сережка не сразу поверил.

— А если дожжик пойдет?

— Дожжик летом теплый.

— А если солдаты прогонят?

— Мы тихонько от них.

Сережка нерешительный. Ковырнул в носу два раза, говорит:

— Нет, Мишка, не доедем.

Мишка побожился:

— Ей-богу, доедем, только не бойся. Теперь красноармейцы везде, они не прогонят. Узнают, что мы голодающие, хлебца дадут.

— Маленькие мы, забоимся.

Мишка начал доказывать: совсем и не маленькие. Это не беда, что Сережка помоложе, хлопотать будет сам Мишка: место разыскивать на чугунке, людей упрашивать. Чай, не девчонки они. Плохо придется — потерпят. С чугунки прогонят — все равно двоим не страшно. Переночуют до утра, маленько пешком пойдут. Потом опять залезут, как только начальники заглядятся.

— А назад когда вернемся? — спросил Сережка.

— Назад мы живо вернемся. Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня. Соберем по двадцать фунтов и ладно, чтобы тяжело не было.

У Сережки глаза загорелись от радости:

— Я пуд донесу!

— Пуд не надо. Отнимают, у кого много. Лучше еще съездим два раза, когда дорогу узнаем.

— Давай, Мишка, никому не сказывать.

— Давай!

— Ты знаешь да я, больше никто. Пристанут Коська с Ванькой, а сами шишиги[1] боятся. Куда с ними доедешь!

— А ты не боишься?

— Чего мне бояться? Я на мазерки[2] в полночь пойду.

2

Мать на кровати охала. Младший, Федька, дергал за подол, клал палец в рот, просил хлеба. Средний, Яшка, делал деревянное ружье — воробьев стрелять для пищи, думал: «Убью троих — наемся. Маленько Федьке с мамкой дам. Эх, вот бы голубка подшибить!»

Вошел Мишка в пустую голодную избу, шапку нахлобучил, брови нахмурил. Сразу стал похожим на большого настоящего мужика и ноги по-мужичьи растопырил.

---

[1] Шишига — народное выражение: бес, сатана.
[2] Мазерки — кладбище.

— Ты что, мама, лежишь?

— Нездоровится мне нынче, сынок.

— А я хочу в Ташкент за хлебом съездить.

— В какой Ташкент?

— Город есть такой — две тысячи верст отсюда, и хлеб там больно дешевый...

Говорил Мишка спокойно, по-хозяйски, как большой настоящий мужик.

Мать смотрела удивленными глазами:

— Болтаешь, что ли,— не пойму я тебя!

Начал Мишка рассказывать по порядку. Ягод много там и хлеба каждому по горло. За раз можно привезти тридцать фунтов. (Нарочно прибавил десяток, чтобы мать лучше поверила.) Рассказывал складно, словно по книжке. И что от мужиков слышал и что сам придумал — все выложил. Туда, самое много, четыре дня, оттуда, самое много, четыре дня.

— Ты, мама, не бойся.

— А если домой не вернешься?

— Вернусь.

— Смотри, сынок, заставишь меня по всем ночам не спать, только и буду думать о тебе. Мужики большие — и то не едут.

— Мужикам, мама, хуже. Билет им с пропуском надо, а мы с Сережкой на глазах у всех скроемся. Все равно, кроме меня, некому хлопотать. Куда Федьку с Яшкой пошлешь? А я не испугаюсь.

— Ну, смотри, Миша. Христа ради прошу, не залезай на крышу. Помилуй бог, сорвешься ночным делом — пропадешь. Лучше в ноги кому поклонись, чтобы посадили в спокойное место. Что я буду делать, когда одна останусь?

— Не бойся, мама, не упаду.

Осмотрел Мишка лапти, разбитые в пятках, нахмурился: «Худые, черти!»

Но тут же успокоился: «Теперь не холодно, босиком можно».

Ножик складной отточил на кирпиче, шилом дырочку просверлил в рукоятке, повесил на ременный поясок, чтобы не потерялся. Отсыпал соли в тряпичку, крепко затянул узелок, чтобы не рассыпалась. Свил веревочку кудельную про запас. Мало ли что может случиться в дороге! Отец покойный всегда так делал: едет на базар, ось запасную берет, колесо, оглоблю. Колеса Мишке не нужно, а веревочка пригодится.

Мать достала мешочек-пудовичок, наложила заплаты с обеих сторон.

— Одного-то хватит, Мишка?

— Давай два, из двух не вывалится. Може, разные куски будут давать.

Поверила мать.

— И правда, Миша. Все бери, чего придется. Можа, зерном маленько принесешь — посеем.

Сняла с себя в чулане рубашку мать, отрезала станину красную на мешок.

Бросил Яшка ружье деревянное делать, с удивлением взглянул на брательника.

— Мишк!

— Ну?

— И Сережка едет с тобой?

Не ответил Мишка. Вышел на двор, огляделся.

Колесо валяется, дуга валяется, а лошади нет и коровы нет. Раньше куры клохтали, петух во все горло кричал, теперь только столбы да крыша худая. Ну, ничего. Удастся в Ташкент хорошо съездить — дело поправится. Самое главное, бояться не надо. Едут другие, и Мишка попробует. Он только годами маленький, на делах его большой не догонит.

3

Опять мужики на улице говорили про Ташкент. Кружились в мыслях около невиданного, слушали про сады виноградные, дразнили себя пшеницей двух сортов: поливной и багарной[1]. Цены невысокие. Рай! А попасть трудно: билет нужен, пропуск нужен. Мишка не боялся.

Как в сказке, стоял перед ним Ташкент — город хлебный. Сады виноградные — вó! Шутя можно урюку карман нарвать. Все равно, если ползком, никто не увидит.

Говорили мужики — воздух очень горячий там, задохнуться можно,— и этого не боялся Мишка. Наверное, речки есть, как у нас. А раз речки — можно купаться.

Когда Сережка упомянул про киргизов, мимо которых придется ехать, Мишка и тут не сробел:

— Если киргизы — люди, чего их бояться?

— А можа, они не люди?

— Там увидим. Сейчас наскажут всякой всячины.

---

[1] Багарная пшеница — посев на не орошаемых искусственно землях в Средней Азии.

4

На полях стояла тишина. В голубом небе пели жаворонки. Ниже гудела проволока на телеграфных столбах, уходящих вперед длинной вереницей. За столбами — станция. На станции — чугунка. Мишка два раза видел ее, когда с отцом в Самару ездил. Интересная! Ползет сажен на пятьдесят, из трубы — дым, как печка топится, и гудок свистит.

Шел Мишка в отцовском пиджаке, подпоясанный солдатским ремнем, широко размахивая палкой. За плечами мешочек-пудовичок. В нем другой мешочек, сшитый из материной станины красной. В красном мешочке — кружка жестяная, тряпичка с солью, кусок травяного хлеба и старая бабушкина юбка, которую надо продать городским.

Сережка шагал босиком с левой стороны. Большие мужичьи лапти с длинными бабьими чулками висели через плечо. К лаптям привязаны два мешка, скатанных трубкой.

Шли и уговаривались — друг друга не бросать. Захворает один — другой должен ухаживать. И кому подадут вперед, чтобы пополам делить.

Когда показалась маленькая станция, Сережка сказал:

— Гляди, Мишка, я дымок вижу. Это не наша чугунка?

Мишка растопырил ладонь около глаз.

— Теперь вся чугунка наша. На которую поспеем прежде, так и поедем.

— А много их?

— Штук двадцать.

— Ты передом пойдешь?

— Угу.

Сережка улыбался:

— Я все равно не боюсь. Сколько верст ушли, а ноги не устали. Давай сажени мерить!

— У меня шаги шире твоих.

— Я тоже буду широко шагать.

Мишка советовал:

— Не надо торопиться — хуже устанешь.

На бугорке присели отдохнуть. Вытащили тряпички с солью, расстелили на траве. Сережка сказал:

— У меня соли больше, чем у тебя.

— А хлеб у тебя есть?

— Положила мама четыре картошки.

— Картошкой не наешься, хлеба надо.

— Где я возьму?

Мишка нахмурился. В мешке у него лежал кусок травя-

ного хлеба. Хорошо, если бы и у Сережки лежал кусок травяного хлеба. Тогда у обоих поровну, а теперь невыгодно. Куснут раза по три — останется половина.

— Почему ты хлеба не взял маленько?

Сережка лежал на животе, обсасывая травку. Глаза у него стали скучными, верхняя губа плаксиво топырилась. Поглядел он в ту сторону, где деревня осталась,— даже колокольни не видать. Поле кругом да столбы телеграфные. Если назад вернуться — до вечера не дойдешь.

Жалко стало товарища Мишке. Вспомнил уговор — помогать друг другу, отломил кусочек хлебца.

— На́! Придем на станцию — отдашь. Ты думаешь, хлеба мне жалко?

Сережка молчал.

Съесть он мог больше фунта, а Мишка дал маленькую крошку. Не станут давать на станции — жди до утра. Не станут утром давать — жди до вечера. Посмотрел еще раз в ту сторону, где деревня осталась, вздохнул.

— Ты что вздыхаешь?

— Это я нарошно.

— Испугался?

— Ну, испугался! Чего мне бояться?

— Теперь все равно домой не дойдешь до вечера. Вечером волки нападут...

Оглянулся Сережка во все стороны, а Мишка рассказами страшными мучает.

— Дойдешь до Ефимова оврага — там жулики по ночам сидят. Недавно лошадь отняли у мужика и самого чуть-чуть не убили.

Поднялся Сережка, сел — ноги калачиком, со страхом поглядел на товарища.

— Ты сколько дней можешь не емши протерпеть? — спросил Мишка.

— А ты?

— Три дня могу.

Сережка вздохнул:

— Я больше двух не вытерплю.

— А сколько без воды проживешь?

— День.

— Мало. Я день проживу да еще полдня.

Когда отошли от бугорка, Сережка сказал неожиданно:

— Я тоже проживу день да еще маленько.

5

Вот и чугунка невиданная. Стоят на колесах избы целой улицей, из каждой избы народ глядит. Тепло, тесно в избах, мужики с бабами на крышу лезут, друг друга подсаживают, снизу подталкивают. Сверху вниз мешки летят, чайники, холщовые сумки.

По крыше солдат с ружьем ходит, громко на баб с мужиками покрикивает:

— Нельзя сюда!

Сгонит с одной крыши, они на другую забираются. Опять сверху вниз мешки летят, опять солдат с ружьем кричит:

— Нельзя сюда!

Мишка тоже на крышу забраться хотел, поближе к народу, но раз нельзя — не полезет, надо правило знать. Сережке совсем непонятно. Глядит во все глаза, с места не оторвешь.

— Зачем их толкают оттуда?

— Нельзя тут — казенный. Видишь—солдат с ружьем.

И мужику с двумя мешками совсем непонятно. Сдвинул шапку на затылок, крепко задумался: «Куда вскочить?»

На трех крышах был — везде нельзя. Бросился за водокачку в дальний вагон, там, наверное, можно. Мишка ударился за мужиком, Сережку торопит:

— Айда скорее, не отставай!

А Сережка понять ничего не может.

Направо — невиданные вещи, налево — невиданные вещи. У них в селе на столбах по три проволоки — здесь по восемь в два ряда. Шары стеклянные висят. На рожках играют. Двое мужиков с фонарями прошли. Везде железные полосы гайками привинчены. Споткнулся Сережка об одну полосу, а спереди прямо на него изба без окошек двигается, колесами хрустит.

— Задавит, мальчишка, уйди!

Лезет мужик с двумя мешками на вагонную крышу, и Мишка за ним, словно кошка, вверх.

— Ты куда?

— В Ташкент мы с Сережкой.

— Слезай скорее, это не в Ташкент!

— А куда же, дяденька?

— В Сибирь, в Сибирь! Прыгай!

Стукнуло Мишкино сердце, волосы на голове так и под-

нялись. Где Сибирь? Какая Сибирь? Сам на крыше сидиг, Сережка около колеса бегает.

— Лезь, Сережка, лезь!

Хотел ухватиться Сережка за приступок вагонный, а вагон пошел.

— Батюшки!

Бежит Сережка вдоль колеса, не отстает. Дух захватило, голова треплется, глаза помутились.

— Не догонишь!

Сильно разболелось Мишкино сердце, жалко товарища: пропадет. И домой идти забоится. Если на ходу спрыгнуть — расшибешься. Очень шибко вагон пошел: крыша покачивается, колеса постукивают.

Спутался ногами Сережка, полетел вниз головой.

— Пропал теперь!

Смотрит Мишка на станцию, на упавшего Сережку, вспомнил уговор не бросать друг друга. Чего делать? Придется ворочаться с другой станции. А вагон вдруг тише пошел, остановился: наверно, забыл чего-нибудь. Дернул раз вперед, попятился по другой дороге. Еще дернул раз вперед, опять пошел по другой дороге. Раз пять обернулся туда и сюда. Вывез в самое поле позади станции — встал. Выпустила дух машина, в сторону пошла от него.

Мужик с двумя мешками ругается:

— Ах, нечистая сила! Я думал — настоящий он, в Сибирь повезет...

Мишка рад до смерти.

Прибежал на станцию, а Сережки нет. Побежал на то место, где Сережка упал, и места того нет. Вот будто тут и будто тут. Метался-метался, насилу разыскал товарища около стрелочниковой будки. Уткнулся Сережка головой в колени, плачет.

Мишке это не понравилось.

— Зачем плачешь?

— Потерял ты меня.

— Держаться будем друг за дружку, расспросим хорошенько дорогу, которая на Ташкент, зря больше не сядем. Жди, пока я на станцию сбегаю, послушаю, что мужики говорят. Никуда не ходи, на этом месте будь.

Нельзя перечить: Мишка — вожак.

Прижался Сережка около будки и глаза закрыл.

«Эх, дурак! Зачем поехал?»

Есть хочется, плакать хочется. Забудет Мишка про него, сядет один и уедет, а он и дороги не знает, как домой



дойти. Если бы и знал — нельзя: дойдешь до оврага — там жулики. Мужиков больших убивают, мальчишку маленького ничего не стоит, сразу — смерть.

А дома, наверное, думают: когда Сережка приедет? Ходит мать по шабрам, рассказывает: «Сережка наш за хлебом в Ташкент поехал». Бабушка, пожалуй, не дождется — умрет. Хорошая бабушка. Сроду не била Сережку. И мать тоже хорошая. А речка какая! Все лето можно купаться, если бы не голод.

Лезет вечер на станцию, одевает деревья черным платком. Шары на столбах загорелись, в будке за стенкой кто-то постукивает: дррр! дррр!..

А Мишка нейдет. Сядет один и уедет.

Опять за стенкой кто-то постукивает: дррр! дррр!..

Хотел в окно поглядеть Сережка, а мимо будки — чудовище с огненными глазами: пыхтит, гремит, фукает. Сверху искры летят. Вдруг как фыркнет около самой будки, сбоку дым пошел — прямо на Сережку. Бросился Сережка от будки и сумочку с лаптями позабыл.

6

Мишка сразу два дела сделал: дорогу на Ташкент узнал и корочку выпросил у товарища красноармейца. Обо всем приходится самому думать. Хлеба нет, денег нет, Сережка неопытный. Надо будет покормить его маленько, чтобы не обессилел. Сунул Мишка корочку в карман — укусил два раза, подумал: «Дам ему чуть-чуть, наплевать. После заплатит».

Хотел сейчас же к будке бежать, да попался на глаза ему аппарат телеграфный в окошке. Интересный! Лента из нее белая лезет, и человек пальцем постукивает. Другой человек с трубкой около уха по проволоке разговаривает. Загляделся Мишка и не помнит, как корочку в рот положил. Вспомнил про Сережку голодного, совесть мучить начала: «Зачем съел?»

Прибежал на то место, где Сережка остался, а Сережки нет. Вот и будка эта самая с одним окошком... или другая, похожая на эту. Что такое? Маленько заплутался. Повернул в другую сторону — на поле вышел. Куча соломы белеет, месяц стоит над самым бугорком, смотрит на Мишку. Людей не видно. Только молотком стучат за станцией да плачет кто-то тихонько в канаве. Подошел поближе, а в канаве баба с ребятами сидит. В середине жарничок по-

тухает. Волосы у бабы растрепанные. Качает она головой, приговаривает:

— Милые мои детушки, куда мы с вами пойдем теперь?

И Мишка подумал: «А я куда пойду?»

Вернулся на станцию, крикнул.

В поселке залаяла собака.

«Вот так штука! Где искать? И бросить нельзя: вместе уговаривались, клятву дали. Дурак! Одному бы ехать — лучше».

Сел на станции около дверей Мишка, задумался. Посидел, посидел, глаза слипаться начали. Открыл, они опять закрылись. Вспомнил про Сережку, вздохнул: «Куда денется? Утром найдется».

Упала Мишкина голова на колени, тело кверху поплыло. Плывет, как на крыльях, все выше и выше поднимается.

Мать снизу кричит: «Упадешь, Миша, куда забрался?»

А Яшка, брат, голубей стреляет из деревянного ружья. Стрельнет раз — голубь. Еще раз — еще голубь. Штук десять настрелял. Повесил на веревочку и давай этими голубями Мишку по голове бить.

Рассердился Мишка, хотел было Яшку ударить, а перед ним — солдат с ружьем.

— Нельзя здесь лежать!

Собачонка мимо прошла, обнюхала воздух. Поглядела в дверь, пошла на цыпочках дальше. Вышел мужик без шапки.

— Ты чего, мальчишка, зябнешь?

— Спать, дяденька, больно хочется.

— Куда едешь?

— В Ташкент мы с Сережкой, а он потерялся.

— Иди в третий класс — уснешь.

Зашел Мишка в третий класс, а народу в третьем классе — наступить негде, кучей так и лежат. Пар над ними, словно в бане, а в пару этом слышно: плачут, плюют, сморкаются. Старик ползет будто рак — задом наперед. Его ругают, а он ползет.

— Куда тебя черти несут?

Задел Мишка ногами за чью-то голову, напугался. Поднялась голова, как крикнет:

— Чего ходишь тут?

— Сережку я ищу.

— Жулик, наверное, ты.

Кто-то еще закричал:

— Выгоньте его — украдет.

Поползал Мишка в одной стороне, а Сережки нет. И в другой стороне — Сережки нет. Будто в воду канул! Не искать нельзя: вместе уговаривались. Сунулся Мишка в последний уголок, а Сережка съежился там да и спит.

— Эй ты, пропадущий!

Открыл глаза Сережка — не поймет. Будто Мишкин голос, будто не Мишкин. Лицо будто Мишкино, а голова будто не Мишкина. Опять Мишка за руку. дернул:

— Проснись! Я это, насилу разыскал. Ты зачем убег с того места?

— Боязно там!

— Эх, боязно! Чай, не в лесу! И меня не послушал. Хорошо, я не бросил искать. Остался бы один — не больно гожа. Разве можно так делать? Дурак! Уговорились вместе ехать, надо держаться.

Шмыгнул Сережка носом от обиды, глаза кулаком потер.

— Ну, ладно, не плачь, я не сержусь. Вперед только так не делай. Ты маленько спал?

— Есть я хочу.

Мишка тоже есть хочет. Облизал губы языком, подумал: «На моей шее будет сидеть».

Вслух сказал:

— Какой ты чудной, Сережка, терпеть не умеешь! Где я возьму хлеба теперь? Приедем в Ташкент, наедимся. Мало будет тебе, свою долю отдам. Разве мне жалко.

А у самого в мешке кусочек травяного хлеба из дому: утаить хотел. Товарища жалко, и себя не хочется обижать. Он ведь, Мишка, хлопочет везде, ему и пищи больше надо.

Припомнил уговор — пополам делить,— рассердился.

Связал уговор по рукам и ногам — лучше бы не уговариваться. Вытащил кусочек, нехотя отломил немного.

— Нá, после отдашь. Теперь на тебе два куска моих. А где у тебя сумка с лаптем?

— На том месте осталась.

— Дурак! Во что теперь хлеб положишь?

Сережка отвернулся.

— Я не поеду в Ташкент.

— Зачем?

— Далеко больно.

— А домой как пойдешь?

— Дойду потихоньку...

— Иди, если не боишься. А таких товарищей я не люблю, которые пятятся. То ехать, то не ехать...

Долго молчали.

Кто-то кричал во сне, окутанный паром:

— Пошел, пошел! Наш поезд пошел!

Рядом мужик поднялся с огромной всклокоченной головой и тоже кому-то сказал:

— Все умрем! Ноги пухнуть начали у меня.

Представился Мишке Ташкент невиданный и два мешка с кусками. В одном мешке — белый хлеб, а в другом мешке — черный хлеб. В третьем мешочке — пшеница, фунтов десять. Это на семена. А пшеница не как наша. Крупная! Глядит Мишкина мать в два мешка, от радости плачет: «Ах, Миша, Миша! Какой ты хороший сынок, заботишься об нас. Ляг, маленько усни. А вы, ребята, не шумите».

Открыл Мишка глаза невидящие, опять закрыл.

Не знай, по крыше кто ходит, не знай, дождик шумит. Ладно, наплевать, спать больно хочется. Утром завтра можно узнать хорошенько. А вверху под самым потолком дерево качается сучками вниз. Запрокинулась назад Мишкина голова, а дерево яблоками увешано. Большие яблоки, по два кулака. Упало одно прямо на Мишкину голову, а Мишке повернуться даже лень, руку за яблоком протянуть не хочется...

«Ладно, наплевать, спать больно хочется...»

У Сережки во рту нехорошо.

Съел он кусочек, еще больше раздразнился. Вылизал десны языком, начал ногти грызть. Кишки так и ворочаются, инда саднит все брюхо. Увидал, спит Мишка, стал Мишкину сумку ощупывать: нет ли хлеба спрятанного?

Нащупал кружку, подумал: «Хлеб!»

Обрадовался и напугался: «Эх, проснется Мишка! Либо побьет, либо скажет: «Как тебе не стыдно? Взял я тебя за хорошего, а ты жуликом заделался».

Держит Сережка Мишкину кружку в мешке, думает: «А если я не весь съем? Все равно грех. Чай, я не нарошно: есть хочется. Бери, если не боишься».

Запутались Сережкины мысли: и взять и не взять. И есть ему хочется и перед товарищем стыдно.

Подошел тяжелый сон, начал Сережкину голову нагибать, Сережкино тело укачивать: «Спи!»

Долго боролся Сережка с тяжелым сном. Глаза открывал, головой встряхивал, руками судорожно ощупывал кружку в мешке.

Есть больно хочется...

Но положил все-таки тяжелый сон Сережкину голову около Мишкиных ног, во рту стало тепло и покойно. Ласковый голос сказал: «Не надо воровать, терпи маленько».

7

К утру подали поезд ташкентский.

Поднялись мужики с сундуками, поднялись бабы с ребятами. Вскинулись мешки на плечи, загремели ведра, чайники, самовары. Выгнулись спины мужицкие, растрепались головы бабьи; мокро под рубашками.

Повалили...

— Стой!

— Чей мешок у тебя?

— Милиция.

Воет баба над пропавшим мешком, машет кулаками мужик.

— Стой!

Оторвался с кожаной лямки сундук — грох!

Полетели два мужика через сундук — грох!

Повалили...

Не река сорвалась в половодье — народушко прет со всех сторон, со всех концов. Из канав вылезли, из-за стен выползли — босые, рваные, дождями промытые, ветрами продутые.

— Не мешай!

Захрупали крыши вагонные под сотнями ног. Заревела темнота предутренняя сотнями голосов. Тяжело дышат мужики, отдуваются. Руки дрожат, ноги дрожат, глаза от страха выворачиваются.

— Не мешай!

Баб подсаживают, сундуки кидают, мешки кидают, ребят на руки бабам кидают. Храпят, задыхаются.

— Не поспеешь!

— Товарищ, товарищ, это баба моя!

— К черту!

— Какое полное право?

— Гони!

— Ива-а-ан!

— Ах, сукины дети!

Тащит Мишка Сережку перепуганного, ныряет под вагонами, стукается головой о колеса.

— Скорей!

А двери вагонные высоко. Мишка с Сережкой никак не достанут до них, никак не залезут. И ухватиться не за что.

— Дяденька, подсади!

У вагонов вертятся мужики с бабами, топчут, мнут, к дверям не подпускают.

— Лезь на крышу!

— Чайник где?

— Товарищ, чайник наш!

Раз! — по зубам.

— Жулик!

— Бей до смерти!

Обежал Мишка вокруг поезда два раза — никто не подсаживает. Что делать? А мужики верхом садятся на буфера, и бабы верхом садятся. Девки лезут, ноги по-мужичьи раскорячивают. Значит, можно тут. Вскочил Мишка верхом на буфер, кричит:

— Лезь сюда!

А Сережка не влезет.

— Давай подсажу.

— Упаду я тут.

Здорово рассердился Мишка, даже зубы стиснул.

— Крепче держись!

Ухватился Сережка обеими руками за железную шляпку, глаза ничего не видят.

— Раздавит меня тут.

А рядом за стенкой солдат мужиков ругает:

— Марш отсюда!

Задрожал Сережка — ни живой ни мертвый.

— Батюшки!

Мишка шепчет ему:

— Молчи, молчи, он не видит нас. Не кашляй!

— Руки не держатся.

— Брось говорить!

— Мишенька, миленький, упаду.

Тут Мишка совсем рассердился.

Плюнул под буфер, сказал:

— Падай, я один поеду...

Замолчал Сережка, а солдат Сережкину голову увидал.

— Кто тут?

Влопались.

— Слезай!

Ничего не поделаешь.

Или слезай, или говорить начинай. Мишка вступил в переговоры.

— Это, товарищ красноармеец, мальчишка из нашей деревни, со мной едет.

— А ты кто?

— Лопатинский я, Бузулукского уезда. Еду за хлебом в Ташкент.

— Показывай документы!

— Пашпорт?

— Я тебе дам пашпорт!

А другой солдат кричит позади:

— Тащи в ортчеку![1]

Екнуло Мишкино сердце: «Достукались!»

Сережка — ни живой ни мертвый.

Схватил солдат его за руку — инда в плече дернуло.

— Сопливые мальчишки! Транспорт только уничтожаете...

Вот тебе раз! Поехали за хлебом в Ташкент, попали в ортчеку. А ортчека, не иначе, судить будет. Слыхал Мишка такое слово от мужиков — не больно хвалили. Если солдату сунуть маленько — денег нет. Плакать нарочно — не поверит. И поезд уйдет. Вертится Мишкина голова с разными мыслями — ничего не придумаешь. Увидал — Сережка хнычет, на хитрость пустился:

— Чего ж ты нюни распустил? Чай, нас не в тюрьму повели. Разберут, откуда мы такие,— отпустят.

Потом солдату ласково сказал:

— С нашим братом нельзя иначе. Все мы лезем куда не надо...

Молчит солдат.

— Товарищ красноармеец, нельзя ли нас двоих пропустить? Мы голодающие.

— Шагай, шагай, завтра поедешь.

Мишка подумал: «Как его обмануть?»

Схватил его за руку, шепчет:

— Товарищ красноармеец, мужик полез.

— Где?

— Вон там, за вагонами сел.

Глядит солдат, а на вагоне две бабы торчат, словно на счастье.

---

[1] Ортчека — особая районная транспортная чрезвычайная комиссия — организация, которая ведала охраной революционного порядка на транспорте.

— Стойте тут!

Мишка радостно подхватил:

— Стой, Сережка, стой! Подождем товарища красноармейца — некогда ему с нами возиться...

Побежал солдат баб прогонять, а народу кругом — ни души. В самый раз. Поправил Мишка мешок на спине, шепчет Сережке:

— Не кричи! Давай руку!

Сначала позади станции бежали, мимо коровьих хлевушек, в темноте натыкались на навозные кучи. Напугали собаку сонную. Залаяла собака, напугала Сережку. Выбежали около водокачки, нырнули под вагоны, в самый хвост. Посидели, дальше поползли. Обнюхал Мишка руки себе, плюнул.

— Кто-то навалил тут, бесова морда! Ты не выпачкался?

— Выпачкался.

— Не хватай меня.

Выглянули наружу — ни одного человека не видно. Что такое? Народ больно далеко шумит.

— Сережка, мы не здесь ползем.

Бросились в другую сторону — тут и паровоз под самым носом.



— Вон он где!

А на паровоз мужики с бабами тихонько лезут.

Подсадил Мишка товарища, в спину толкнул.

— Лезь!

— А ты?

— Лезь, не говори со мной.

Нельзя перечить: Мишка — вожак.

Залез Сережка — наступить не знает где. Дотронулся до одного места — горячо.

— Мишка, тут печка!

— Молчи!

Вдруг как свистнет над самой головой, как дернет, а внизу под ногами: ф-фу! ф-фу! — у Сережки и волосы поднялись.

— Батюшки!

Сначала тихонько ехали, потом все шибче да шибче. Ревет кто-то над самой головой, гремит, дергает, а искры так и сыплются сверху. А ветер так и свищет в лицо, голову треплет. Эх, если опрокинется машина, вдребезги убьет, ни одного человека не останется.

Поглядел Сережка маленько вперед, в ужасе отшатнулся: навстречу — чудовище с огненными глазами, сейчас расшибет!

А чудовище мимо машины — жж-ж!

Все-таки не расшибло.

8

Ехали долго.

И никак нельзя было понять: земля бежит или машина бежит. И куда бежит — никак понять нельзя: вперед или назад. То будто вперед, то будто назад. Вся земля вертится на одном месте, а машина со всем народом по воздуху несется. На мосточках через овраги страшно гремело под колесами, и самые овраги на секунду бросались в глаза черными разинутыми ртами.

Утром легче стало.

Развернулись поля, пробежали мимо будки, мужики на лошадях, бабы, ребята, деревни.

Мишка, утомленный за ночь, крепко спал около паровозной трубы. Баба кормила ребенка грудью. Мужик с расстегнутым воротом выбрасывал вшей из-под рубахи. Другая баба кричала мужику:

— Не кидай на меня!

— Вошь я уронил!

— Где?

— Вот тут.

— Вшивый бес!

— Не ругайся, я найду ее: она у меня меченая — левое ухо разрезано, на лбу белое пятнышко...

На подъеме машина убавила ходу. Запыхтела, зафукала, остановилась.

«Приехали!» — подумал Сережка.

А мужик сказал другому мужику:

— Паровоз не работает.

— Значит, не пойдет?

— Винты расстроились.

Вылез человек в черной засаленной рубашке, начал стучать молотком по колесам. Вылез еще человек. Дернула машина раза два, опять остановилась. Попрыгали мужики из вагонов, бабы и теплым ясным утром торопливо, в полукруг, начали садиться «на двор» недалеко от чугунки.

Сережка подумал: «Видно, всем можно тут».

Ему тоже хотелось «на двор», но боялся прыгать, чтобы не отстать, терпел свое горе сквозь слезы.

— Мишка, айда с тобой!

— Я не хочу.

— Я больно хочу...

— Прыгай скорее!

Только хотел Сережка спрыгнуть, а народ закричал:

— Садись, садись, пошла!

Фыркнула машина, заревел гудок — потащились.

Сережка заплакал:

— «На двор» я хочу!

— Погоди маленько, не надо.

Через минуту Сережка судорожно схватился за штанишки.

— Не вытерплю я!

— Постой маленько, постой! Скоро на станцию приедем.

Не хотелось Мишке конфузиться из-за товарища, а глаза у Сережки испуганно выворотились, лицо побелело.

— Ты что?

— Ушло из меня.

— Молчи, не сказывай! Сядь вот тут!

Сел около бабы Сережка, а баба говорит:

— Где у нас пахнет как?

И мужик тоже оглядывается.

— Кто-то маленько напустил!

— Какое маленько — живым несет.

Легче стало в брюхе у Сережки, сидит — не шелохнется.

Мишка в бок толкает его:

— Молчи.

9

Когда въехали в вагонную гущу на станции, быстро замелькали головы, руки, ноги, лошади, телеги на вагонных площадках. Остановилась машина далеко от станции. Мужики с бабами тут же попрыгали, прыгнул и Мишка с Сережкой. Мишка маленько прихрамывал на левую ногу, а Сережка совсем разучился ходить по земле. Голова кружилась, ноги спотыкались, и опять, как на машине, плавали вагоны в глазах, перевертывалось небо. Мишка тащил его за собой.

— Айда, айда!

— Куда?

— Нельзя здесь — увидят...

Ушли из опасного места, очутились на пустыре около высокого забора. Поднял Сережка гайку в траве, очень обрадовался. В голове мелькнула хозяйская мысль: «Дома сгодится!» — но Мишка сказал:

— Ты чего в карман положил?

— Гайку.

— Брось!

— Зачем?

— Обыскивать будут...

Сережка нахмурился. Жалко гайку бросить, и на Мишку сердце берет. Что за начальник такой — везде суется! Взять да не слушаться никогда. Встали сразу все Мишкины обиды перед Сережкой — даже в носу защекотало. Стиснул гайку, думает: «Пусть ударит!»

Мишка еще больше рассердился:

— Брось!

— А тебе чего, жалко?

Мишке было не жалко. Просто досадно, что Сережка поднял хорошую гайку, а он, Мишка, не поднял потому, что все время о хлебе думал и глаза под ногами не распускал.

— Мы как уговорились?

— Как?

— Все пополам делить.

— Это мы про хлеб говорили.

Лег Мишка на спину, долго смотрел на голубое кудря-

вое облако, плывущее по чужому далекому небу. В кишках начало булавками покалывать, во рту появилась слизь, вяжущая губы. Плюнул. Стиснул голову обеими руками, стал обуваться в лапти. Обувался рассеянно. Пересматривал оборины, худые пятки у лаптей, неторопливо вытряхивал пыль из чулок. Украдкой взглянул на Сережкин карман, где лежала соблазнительная гайка. Почесал в голове. Кому не надо — счастье. Он вот хлопочет, бегает, на вагоны подсаживает, а гайку нашел другой. Ударил Мишка чулком по кирпичу, сказал:

— Ладно, держи свою гайку, мне не надо...

Губы у Сережки оттопырились, глаза заморгали.

Подпотела гайка в кулаке, словно приросла к шершавой ладони. Драка будет, если начнет Мишка насильно отнимать. Что за начальник такой — каждый раз нельзя ничего сделать!

Мишка взглянул исподлобья:

— С такими товарищами только и ездить по разным дорогам. Если хлеб мой жрать — ты первый, а за гайку готов удавиться. Кто тебя вытащил из ортчеки? И опять попадешь, если я не заступлюсь. И хлеба не дам больше, и уеду один от тебя. Оставайся со своей гайкой.

Губы у Сережки вздрагивали, глаза от обиды темнели. Слабо разжимался кулак на минуточку и снова сжимался еще крепче. Не гайку жалко — досадно. Зачем такой начальник Мишка? Зачем нельзя каждый раз ничего сделать?

Пошли.

Хотел Сережка рядом идти, Мишка отсунул:

— Иди вот там, не надо мне.

Шмыгнул Сережка носом, пошел позади. Поглядел на гайку в кулаке, вытер о колено. Жалко! И не давать нельзя. Завез Мишка на чужую сторону, возьмет да и бросит на дороге около киргизов.

Взгрустнулось.

Лизнул гайку языком два раза, неожиданно сказал:

— Мишка, давай, кому достанется!

— Не надо мне.

— Ты думаешь, жалко?

Мишка вздохнул облегченно:

— Сознался, чертенок! Все равно без меня никуда не уедешь.

Решили трясти два жеребья в Мишкином картузе: большую палочку и маленькую палочку. Сережка спохватился:

— Обманешь ты меня, давай по-другому.
— Давай.
Поднял Мишка камешек, загадал:
— Я сожму два кулака. Возьмешь кулак с камешком — твоя гайка. Возьмешь кулак без камешка — моя гайка.
Долго раздумывал Сережка, который взять. Щурил глаза, отвертывался, даже помолился тихонько:
— Дай бог, мне досталась!
— Скорее бери!
— Левый.
Мишка причмокнулся.
— Дурачок ты маленько приходишься! Я всегда в правой держу.
Вытащил Сережка гайку проигранную, еще больше захотелось есть. С ней сытнее было, а теперь все брюхо опорожнилось, и во рту нехорошо.
Мишка хвалился:
— Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей.
Сережка настороженно поднял голову:
— Ну, за сто — много больно!
— А что? Она железная, куда хочешь годится.
— Сто не дадут.
— Давай спорить на два куска!
Грустно стало Сережке. Прошли шагов двадцать, сказал он, чтобы утешиться:
— Продавай, я еще найду чугунную...

10

За станцией дымились жарники. Пахло кипяченой водой, луком, картошкой, жженым навозом.
Тут варили, тут и «на двор» ходили.
Голые бабы со спущенными на брюхо рубахами, косматые и немытые, вытаскивали вшей из рубашечных рубцов. Давили ногтями, клали на горячие кирпичи, смотрели, как дуются они, обожженные. Мужики в расстегнутых штанах, наклонив головы над вывороченными ширинками, часто плевали на грязные окровавленные ногти.
Укрыться было негде.
Из-под вагонов гнали.
Около уборной с двумя сиденьями стояла огромная очередь — больше, чем у кипятильника. Вся луговина за станцией, все канавки с долинками залиты вплошную,

измазаны, загажены, и люди в этой грязи отупели, завшивели.

Лишь бы не пропасть.

Приходили поезда, уходили.

Счастливые уезжали на буферах, на крышах.

Несчастливые бродили по станции целыми неделями, метались в бреду по ночам. Матери выли над голодными ребятами, голодные ребята грызли матерям тощие, безмолочные груди.

Постояли Мишка с Сережкой около чужого жарника, начал Мишка золу разгребать тоненьким прутиком. Баба косматая пронзительно закричала:

— Уходите к черту! Жулик на жулике шатается — силушки нет.

Мужик в наглухо застегнутом полушубке покосился на Мишку:

— Чего надо?

— Ничего не надо, своих ищем.

— Близко не подходи!

На вокзале, в углу под скамейкой, лежал мальчуган с облезлой головой, громко выкрикивал в каменной, сырой тишине:

— Ой, алла! Ой, алла!

В другом углу, раскинув руки, валялся мужик вверх лицом с рыжей нечесаной бородой. В бороде на грязных волосках ползали крупные серые вши, будто муравьи в муравейнике. Глаза у мужика то открывались, то опять закрывались. Дергалась нога в распущенной портянке, другая торчала неподвижно. На усах около мокрых ноздрей сидела большая зеленая муха с сизой головой.

Сережка спросил:

— Зачем он лежит?

Мишка не ответил.

Кусочек выпачканного хлеба около мужика приковал к себе неотразимой силой. Понял Мишка, что мужик умирает, подумал: «Хорошо, если бы этот кусочек стащить! Народу нет, никто не видит. И если увидит кто — не догонят. Себе можно побольше, Сережке поменьше, потому что он и сам поменьше».

Прошелся Мишка от стены к стене, мельком в окно заглянул. Ноги вдруг ослабели от сладкого ощущения первого воровства, лицо и уши стали горячими. Ощупал Сережку невидящими глазами, торопливо шепнул:

— Погляди вон там!

— Где?

— Там, за дверью.

Раз, два — готово!

Сережка из дверей спросил:

— Мишка, чего глядеть-то?

— Не гляди больше, не надо...

По платформе побежали мужики за начальником станции. Христом-богом просили пустить их вперед.

— Товарищ начальник, сделайте для нас такое уваженье настолько!

— Ждите, ждите, товарищи, не могу!

Побежал и Мишка вместе с мужиками.

Остановились мужики, и Мишка остановился, держа за руку непонимающего Сережку.

Мужики сняли шапки, снял и Мишка старый отцовский картуз. Дернул Сережку.

— Сними!

Не выгорело дело, мужики начали ругаться. Мишка тоже сказал, как большой:

— Взятки ждут...

После барыню увидели — голова с разными гребенками.

Такие попадались в Самаре, отец покойный называл их финтиклюшками. Стояла барыня на крылечке в зеленом вагоне, на пальцах — два кольца золотых. В одном ухе сережка блестит, и зубы не как у нас: тоже золотые. Рядом ребятишки смотрят ей в рот. Бросит мосолок барыня — ребятишки в драку. Упадут всей кучей и возятся. Потом опять выстроятся в ряд. Перекидала мосолки барыня, бросила хлебную корочку.

Так и пришибла Мишку этакая досада: «Хлеб кидает, дура!»

Поправил мешок, пошли в наступление с Сережкой.

— Ты лови, и я буду ловить.

Росту Мишка невысокого, но здорово укряжистый. Весь в дядю Никанора, который на кулачки дрался лучше всех. Ударит, бывало, по уху — сразу музыка в голове.

Увидала барыня мальчишку в широких лаптях, нарочно кинула кусочек побольше. Инда ноздри раздулись у Мишки. Двинул правым плечом — за раз двоих опрокинул, на третьего верхом сел. Придавил головой к земле, уцепился за шею, словно клещами.

Маленький расплющенный кусочек, вымазанный пылью, достался ему.

Не успел отдышаться, барыня еще кусочек кинула. Так и подбросило Мишку невидимой силой.

— Сережка, хватай!

Но тут кривоногий мальчишка с большим брюхом ухитрился лучше всех. Сбил Сережку под ногу — прямо носом в землю. Вскочил Сережка, не видит ничего. Взмахнул обеими руками ударить — мимо. А кривоногий девчонку отшвырнул в длинной рубахе, хорьком ощетинился на подскочившего Мишку. Двое других закричали:

— Дай ему, Ванька!

Поправил Мишка мешок за плечами, приподнял козырек, упавший на глаза.

— Дай!

— А, чай, боюсь тебя?

— Давай, давай, попробуй.

Тут барыня опять кусочек кинула.

И в это же время из окошка вагонного кто-то бумажку выкинул, свернутую пакетиком.

Эх, черт возьми!

Так бы и разорвался Мишка на две половинки, да никак этого сделать нельзя. Бросился за бумажкой.

«Чего-нибудь есть в ней!»

Развернул дрожащими пальцами, а в бумажке — окурки папиросные.

— Тьфу, ведьмы, чтобы чирей сел!

Игра продолжалась долго.

То Мишка сшибал сразу двоих, то Мишку сшибали сразу двое.

Нахватал он больше всех, и стало ему не страшно.

Можа, еще найдется финтиклюшка. Пусть кидает, если не жалко. Только бы до Ташкента доехать, да зерна привезти на посев фунтов пятнадцать, да хлеба кусками побольше.

Строгие хозяйские мысли укладывались складно, радовали сердце, а свой посев на будущую весну обволакивал Мишкины мысли ласковым, играющим теплом. Тощее, голодное тело ныло сладкой мужицкой истомой.

Сережка ничего не нахватал.

Схватил одну корочку, да и ту вырвал Ванька кривоногий, с большим брюхом и щеку оцарапал ему большими собачьими ногтями.

Сели за станцией.

Пересчитал Мишка собранные корочки, сказал:

— Пять! Три мне, две тебе.



Проглотил Сережка корочки, во рту еще хуже стало.

— Мишка, дай маленько, я не наелся.

— Будет пока. Напьемся воды, ляжем спать.

— Вон эту крошечку дай.

— Которую?

— Вон на коленке у тебя.

Мишка тоже не наелся. Пощупал кусок, украденный у мужика, и губы выпятил.

— Все дай да дай! А ты когда будешь давать?

— Я тебе гайку дал.

— Она мне досталась.

Сережка примолк.

Вытащил Мишка из кармана выигранную гайку, бросил под ноги.

— Ешь ее, если не хочешь дружиться.

Оба долго молчали.

— Сколько кусков за тобой?

— Три.

— Как бы не так!

— А сколько же?

— Пересчитай — узнаешь. На дороге отдыхали, я давал тебе — раз. На той станции, где садились,— два. Сейчас две корки отдал — стало четыре. Я не такой, как ты, лишнего не насчитаю.

Сережка заплакал:

— В кишках у меня мутит.

11

Ночью выпал дождь.

Завозился пустырь с мужиками да бабами, зашипели угли в жаровнях, расплескалась сердитая ругань. Кто-то кричал в темноте:

— Бери чапан![1]

— Где чапан?

Целым стадом потащились на станцию, побежали под вагоны. Только баба, оставленная на пустыре, сердито ругалась:

— Миколай, да куда тебя черти утащили!

Долго шлепали Мишка с Сережкой по лужам, спотыкались в ямках. Опоздали на вокзал, сесть было негде. Прижались к стене в коридоре, опустились на корточки. У Сережки живот разболелся.

[1] Чапан — верхняя одежда.

— Мишка, я «на двор» хочу.

— Опять «на двор»! Беги скорее за стенку!

— Айда с тобой.

Плюнул Мишка от стыда, рассердился:

— Какой ты чудной, Сережка! Сам хочешь и меня зовешь. Чай, не волки здесь — за ноги не откусят.

Раз десять сбегал Сережка, жилился, плакал и снова говорил упавшим, встревоженным голосом:

— Мишка, тянет из меня...

— А ты не жилься!

— Не жилюсь я — течет...

— Глотай слюну в себя!

— Кишки выворачивает.

Мишке надоело возиться, лениво сказал:

— Пройдет, только не думай об этом. Это понос у тебя от плохой воды.

Сережка не думал.

Вздрагивал, прижимался к товарищу, чтобы согреться маленько, закрывал глаза.

— Холодно мне!

В тусклом свете фонарей летели крупные дождевые капли, дымились в лужах, барабанили по вокзальной крыше. Побежал человек в кожаном картузе, стукнул каблуками в коридоре, наступил Сережке на ногу.

Сережка заплакал.

Мишка, нахлобучив до ушей старый отцовский картуз, смотрел утомленно.

— Зачем ты стонешь, Сережка?

— Холодно мне... Голова горит...

Вот не было горя. Протискался Мишка в народ, закричал:

— Товарищи, дайте погреться мальчишке хворому!

Никто не ответил.

Тогда Мишка пустился на хитрость, взял Сережку за руку, еще громче крикнул:

— Пустите!

— Кто тут?

— К маме мы идем.

Протискались в угол на бабий мешок, баба закричала:

— Куда забрались? Ждала я вас?

Хитрить так хитрить, без хитрости не обойдешься. Никогда не было у Мишки такого голоса — очень уж ласковый.

— Ты, тетенька, бузулуцкая?

— Слезь с мешка!
— Мы не тронем.
Мужик рядом сказал, не поднимая головы:
— Дерни за волосы, и будет знать.
— Мать мы потеряли, а отец от голоду помер.
Опять мужик рядом сказал, не поднимая головы:
— Я тоже сирота — без отца еду.
Согрелся Мишка около мешков, чуть-чуть задремал. Только хотел совсем забыться, Сережка как закричит без памяти:
— Киргиз!
Заплакал ребенок у бабы. Баба сердито сказала:
— Не кричи: ребенка у меня напугаешь...
А Сережка опять закричал:
— Горит!
Опамятовался, «на двор» запросился. Потом тихонько заскулил, падая головой на колени.
Мишка в отчаянии закрыл глаза. Думал он о Ташкенте невиданном, в голове неотвязно кружилась пшеница, фунтов пятнадцать, и кусков два мешка. Мысленно висел на буферах, забирался на вагонную крышу, прятался на паровозах, и ни один солдат, ни один начальник не могли поймать его. Они — на крышу, он — с крыши. Они — на паровоз, он — с паровоза. Так везде и говорили про него:
— Вот разбойник появился!
— Кто?
— Да мальчишка бузулуцкий из Лопатинской волости. Без билета едет и без пропуска. Никак не поймаешь в ортчеку...
А рядом Сережка вздрагивал, скулил по-щенячьи в бреду.
Смотрел Мишка на него хмурыми, недобрыми глазами, думал: «Зачем я связался с таким? Лучше, если бы не связываться, а теперь нельзя, уговор. Одного бросить — пропадет. Возиться с ним — в Ташкент долго не попадешь. Эх, дурак! Тошно было одному ехать. Набрал бы шесть кусков, и ешь все шесть один».
Душно стало от тяжелых навалившихся дум, голову колесом распирало. Протискался из вокзала Мишка, вышел на платформу.
Под вагонами увидел Ваньку с кривыми ногами, у которого корочки отнимал, и другого мальчишку — Петькой звать. Сидели они около колеса на сухом местечке — не то спали, не то думали.

Узнал и Ванька недавнего соперника, миролюбиво сказал:

— Лезь к нам!

— А чего у вас?

— Погреешься маленько.

Присел Мишка около колеса, рассказал про Сережку, про Сережкин понос и как они уговаривались не бросать друг друга. Сам Сережка плохой, хлопотать не умеет, и Мишке приходится одному добывать за двоих. Давеча он пять кусков нахватал, а если бы захотел, все отнял.

Ванька взглянул исподлобья:

— На силу надеешься?

— А чего мне надеяться? Накорми меня досыта, я сразу на двоих пойду.

— Эка чем хвалится! Накорми меня, я тоже пойду!

Петька спросил, разглядывая Мишку вспыхнувшими глазами:

— На Яшку нашего пойдешь?

— Который ему год?

— Тринадцатый.

— Какой человек. Можно и на большого пойти.

Досадно стало Петьке: один двоих не боится.

Сунул он локтем невзначай — прямо Мишке в щеку.

Мишка поправил мешок.

— Ты чего дерешься?

— А ты?

— Смотри, дюдюкну раз — опрокинешься.

Ванька ногой отшвырнул его.

— Не лезь!

Петька кулаки приготовил.

— Дай ему, Ванька, за давешние кусочки.

Сцепились три репья под вагоном, долго мяли друг друга в тяжелой загоревшейся злобе. Ногти больно у Ваньки нехорошие — весь нос исцарапал Мишке! Ну, и Мишка тоже здорово голову прищемил ему, как мышь запищал...

12

В полдень поезд пришел не мужицкий, с хорошими вагонами.

Мужики не попали.

Вытряхнули Ваньку с Петькой, увели трех девок в ортчеку.

— Безбилетные!

Мишке посчастливилось.

Вертелся-вертелся он около паровоза с красными высокими колесами, забрался на ступеньку. Наверно бы уехал, да мысли разные в голове закружились: «Бросил, бросил, товарища бросил. Больного товарища».

Повернулись колеса у паровоза, мысли в голове еще больше закружились: «Бросил, бросил!»

Спрыгнул со ступеньки Мишка, чуть не заплакал от обиды: «Зачем я связался с ним?»

Ушел паровоз на красных колесах, осталась тоска по нему.

Лежал Сережка на солнышке за вокзальной будкой, тупо облизывал губы воспаленным языком. Лицо осунулось у него, нос заострился. Сел Мишка около товарища, головой покачал. Вытащил тряпичку из мешка, соли щепотку положил на язык. Поморщился, выплюнул. Молча пошел вдоль вагонов. Снял картуз, постоял под окошком около вагона, двинулся дальше. Подобрав кожуру картофельную, выброшенную в грязь, тяжело задвигал голодными челюстями.

Густо щами бараньими запахло из другого вагона. Опять снял Мишка старый отцовский картуз.

— Тетенька, дай хворому мальчишке маленько.

— Кому?

— Хворому.

— Иди, пока я тебе в глаза не плеснула. Доняли каждую минуту, черти!

Охнул Мишка, ничего не сказал. Прошел самый последний вагон, сел на тонкую светлую рельсу.

Отец покойный всегда говорил: «С нашего брата — давай, нашему брату — нет».

Стиснул Мишка голову обеими руками, окаменел: «Умирай наш брат: никому не жалко».

Тут и попалась ему городская, в беленьком платочке — сестра милосердия. В руке целый кусок черного хлеба. Или сама догадалась, что у Мишки большое горе, или глаза Мишкины выдали это горе.

— Куда едешь, мальчик?

Так и обдал Мишку ласковый голос, словно из кувшина теплой водой. Посмотрел в лицо — не смеется, глазами жалостливая. Недолго думал Мишка: выложил все, как на исповеди. С товарищем они уговорились в Ташкент ехать вместе, дорогой не бросать друг друга. А товарищ захворал маленько, и хлеба никто не дает им. Ему бы, Мишке, даль-

ше ехать скорее — товарища бросить нельзя: пропадет, если один останется,— больно неопытный. Сроду не был нигде, паровозов боится.

— Чем он захворал?

— Понос с ним от плохой воды, и вроде лихорадки.

— Покажи мне его.

Пришли за будку, где Сережка валялся. Мишка сказал:

— Вот, гляди!

Поглядела городская Сережкино брюхо, говорит:

— Не лихорадка с ним — тиф, и он, наверно, не выдержит у тебя.

— Куда же его теперь?

Подумала городская, сказала:

— Полон вагон больных у нас, а все-таки и его придется положить. Доедет до другой станции, в больницу положим. Согласен?

Не тому Мишка рад, что в больницу Сережку положат. Нет, и этому рад. А еще больше вот чему рад: есть на свете хорошие люди, только сразу не нападешь. И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках. Отломила городская хлеба кусочек, Мишка чуть не заплакал от радости:

— Благодарим покорно, тетенька!

Сам думает: «Эх, кабы и меня посадила!»

А городская — колдунья, что ли? Сразу угадала Мишкины мысли.

— Куда пойдешь теперь?

Поглядел Мишка в глаза жалостливые, сознался:

— Тетенька, посади в уголок, я никому не скажу.

Есть на свете хорошие люди!

И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках.

Сидит Мишка в санитарном вагоне — и не верится: сон такой видит или наяву происходит?

Стучит вагон, покачивается. Стучат колеса, наигрывают, а Мишка в уголке улыбается сквозь голубую дрему, путающую мысли: «Где теперь Ванька кривоногий? А где жарники?»

Потухли сразу все жарники, только колеса внизу выговаривают: ту-ту-ту! ту-ту-ту!..

Потом и колеса перестали выговаривать.

Сон.

13

Больница Мишке понравилась: крашеная и окошек много. Полежит Сережка в ней, поправится. Лекарства пустят ему, порошков дадут — живой рукой поднимется. А поедет Мишка назад из Ташкента — и его захватит. Будет удача большая — и хлебом поделится, чтобы не завидно было. Всякий может захворать, он не виноват.

Носилки с Сережкой поставили на крыльцо. Ушли носильщики, долго никто не выходил. Крикнула ворона в деревьях.

— Не к добру орет, кабы не случилось чего.

Опамятовался Сережка, заплакал:

— Куда меня хотят?

— Больница здесь, не бойся.

— А ты где?

— Здесь, с тобой.

Сел Мишка на крылечке около носилок, начал рассказывать. Женщина больно хорошая попалась, жалеет обоих, хлеба давала. Я, говорит, Сережку обязательно вылечу. У меня, говорит, лекарство такое есть. А один Мишка все равно не поедет, будет по базару ходить. Базар есть за станцией, как в Бузулуке, и купить можно чего хочешь. Пусть только Сережка не сердится, что они ругались,— без этого не обойдешься в дороге.

Вспомнил про гайку выигранную.

— Ты думаешь, я взаправду гайку взял? На кой она мне, чужая! Я нарочно дразнил!..

Вытащил гайку из теплого глубокого кармана, положил Сережке на руку:

— На, спрячь ее.

А когда отворились больничные двери и вошел в них Сережка на веки вечные, Мишка почувствовал нестерпимую боль и горькое свое одиночество. Встал у стола, где записывала женщина в белом халате, утомленно рассказывал:

— Крестьяне мы Лопатинской волости, Михайла Додонов я, а он — Сергей Иваныч.

— Фамилия как?

Тут и забыл Мишка Сережкину фамилию. Сейчас в голове вертелась! Хотел уличную сказать, женщина настоящую требует.

— Пишите прямо на меня: Михайла Додонов, Лопатинской волости.



— Грамотный?
— А как же!
— Распишись.
Налег Мишка грудью на стол и губы оттопырил с натуги.
Давно не писал: рука не берет.
Расписался, и сразу скучно стало.
Вышел из больницы, а гайка на крыльце валяется.
«Эх, позабыл Сережка».
Заглянул в окно — никого не видать. Полез в другое окно — кто-то пальцем погрозил оттуда. Повертелся щенком беспризорным вокруг больницы Мишка, опять у крыльца остановился.
«Как бы гайку передать?»
Вынесли человека на носилках. Думал — Сережка это, а на носилках — баба мертвая, и ноги у бабы голые. Грустно стало — силы нет. Есть хочется, и товарища жалко: «Гайку-то позабыл зачем?»

14

Целый день шатался Мишка по базару между продавцами, слушал, сколько просят за юбки, сколько за кофты, почем стоит хлеб, если на деньги купить. Уж и сам хотел вытащить из мешка бабушкину юбку, мужики кругом разговаривают:
— Киргизы за Оренбургом дорого берут разные вещи. Туда надо везти.
Мишка подумал: «Потерплю еще маленько».
Попробовал милостыньку просить, но бабы здесь чересчур сердитые.
Скажешь им: «Тетенька!» — они не глядят.
Донимать начнешь: «Христа ради!» — они замахиваются.
А одна хотела по голове ударить Мишку. Узнала, видно, что кусок он украл у мужика, на весь базар закричала:
— Ты смотри у меня, воришка окаянный! Давно я заприметила — кружишься тут.
Нахлобучил Мишка старый отцовский картуз — ушел от скандала. Донесут в ортчеку — и просидишь недели две, не много станут разговаривать с нашим братом. Потребуют паспорт — нет. Пропуск потребуют, и пропуска нет. Лучше подальше от этого...
Вспомнил про Сережку только к вечеру. Будто кольнул кто в самое сердце: «Что не сходишь? Обещался!»

Хотел сбегать, мужики напугали:

— Поезд готовится на Ташкент. Скоро пойдет.

Сразу раскололась Мишкина голова на две половинки. Одна половинка велит к Сережке сбегать, другая половинка пугает: «Не бегай, опоздаешь».

А первая половинка опять в уши шепчет: «Как не стыдно тебе товарища бросать на чужой стороне? Сам уговаривался, и сам не хочешь. Долго ли добежать! Простишься в последний раз и поедешь. И ему легче будет, когда узнает: ждать не станет...»

Другая половинка успокаивает: «Ты не в этот раз уговорился. Проходишь зря — на поезд не попадешь... Останешься сидеть день да ночь, а в это время сто верст уедешь. Если бы нарочно, не жалко тебе... Ты не нарочно...»

Долго мучился Мишка.

Вышел на станцию. Раз на больницу посмотрит, раз на вагоны: двигаются или нет?

Пересилила Мишкина совесть Мишкину нерешительность — толкнула вперед. Добежал он что есть духу до больничного крыльца, остановился как вкопанный. В трех окошках совсем темно, в одном — огонек горит. Торкнулся в дверь — заперто. Полез головой в окно, где огонек горит, кто-то за рубашку дернул.

— Куда лезешь? Окошко хочешь разбить?

Обернулся Мишка — мужик перед ним с метлой в руке.

— Сережку я гляжу.

— Какого Сережку?

— Наш, лопатинский.

— Никакого Сережки здесь нет, уходи!

Вот тебе раз! Нынче положили, и нынче же нет!

А тут паровоз на станции свистнул. «Поезд!»

Бросился от больницы Мишка, земли не чует под ногами. Прибежал на станцию — не поймет ничего. Туда бегут, сюда бегут, которые чай хлебают. Спросил мужика, мужик и руками развел.

— Я, браток, ничего не знаю, сам четвертый день сижу... Ты куда едешь?

— В Ташкент мне надо.

— В Ташкент давно ушел.

— Ушел?

— Не иначе — ушел.

Так и прострелило Мишку в руки-ноги.

Бросился в другую сторону, на бабу в темноте наскочил — кипяток в ведре несла она... Закачалось ведро, ки-

пятком ей пальцы обожгло. Бросила баба ведро под ноги и давай кричать:

— Держите его!

Не олень бежит, рогами кусты раздвигает — Мишка скачет с мешком за плечами. Сзади шум поднялся, по ушам хлещет:

— Украл, украл, держи!

Пересекли мужики дорогу Мишке:

— Ах ты сукин сын!

— Не нужно, не бейте!

— Позовите милицию!

— Вот, товарищ милицейский, этот самый...

— Мешок украл у женщины.

— Разойдитесь!

Или земля вертится колесом, или люди прыгают друг через друга.

Нет.

Не земля вертится, и не люди прыгают: в глазах у Мишки помутилось, голова Мишкина вертится во все стороны. Стоит он в страшном кругу, и язык не может слова выговорить. Хочет сказать, а язык не выговаривает. Упала слеза на Мишкину щеку,— кто увидит слезу в такой суматохе? Мишкин мешок на глазах у всех. Мишкино горе разжигает мужиков, отупевших от долгого сидения на станциях.

— Бить надо таких щенков!

Ухватил за руку милицейский:

— Идем!

«Пропал,— только это и подумал Мишка,— замотают теперь».

15

Идет он на страшный суд — все поджилочки прыгают. Вспомнил отца покойного, дядю Никанора, который лучше всех на кулачки дрался,— вскипело сердце обидой великой на Сережку: «Из-за него приходится терпеть».

А в ортчека и не страшно даже — как в исполкоме у них. Стол большой, за столом самый главный в кожаном пиджаке. Сбоку револьвер, прицепленный, на фуражке звезда большевистская. Чешет самый главный усы одним пальцем, смотрит на Мишку прищуренными глазами.

— В чем дело?

— Мальчишку поймали, товарищ Дунаев,— объясняет милицейский.

— Безбилетный?



— А шут его знает! Мешок, что ли, утащил.

— Иди ко мне ближе.

Здорово оробел Мишка — руки по швам опустил. Левая вздрагивает от испуга, и ноги чуть-чуть в коленях трясутся. Потолок над головой будто книзу опускается, и вся ортчека на волнах покачивается.

А товарищ Дунаев нарочно молчит, не торопится. Только глазами прищуренными смотрит на Мишку:

— Как зовут?

А у Мишки каждый волосок на голове поднимается, и в носу делается жарко: шмыгнуть не успевает им.

— Который год?

— Одиннадцать — двенадцатый.

— Молодец! Табак куришь?

— Никак нет.

— Не скрывай, Михайла Додонов, нам все известно...

Увидал улыбку Мишка на губах у главного, подумал: «Врет он, ничего не знает, если смеется...»

А главный опять улыбается.

— Зачем мешок украл?

Отлегло на сердце у Мишки, снова подумал: «Давай я обману маленько, можа, поверит».

Начал рассказывать: давно они собирались в Ташкент с отцом, купили билет, пропуск, а отец дорогой помер. Надо бы взять у него билет с пропуском, а Мишка не догадался, две станции без билета проехал. Тут еще мальчишка навязался к нему из их деревни: возьми да возьми — один боится ехать. И тоже захворал. Кого хочешь спроси — в больнице он лежит. Побежал Мишка повидаться с ним, а в это время свисток на чугунке подали. Ну, Мишка напугался, бежал-бежал, на бабу наткнулся. Не видать ничего. Задел ногой за ведро — баба кричать начала. Услыхали мужики, подумали — жулик он. А это его мешок, собственный. В этом мешке еще мешок, а в том мешке кружка завернута, соли на дорогу щепотки две и бабушкина юбка. Он никогда не воровал.

Развязал мешок — верно: кружка, соль и юбка.

Поглядел товарищ Дунаев на Мишку, опять усы почесал одним пальцем.

— А ты знаешь, без билета не полагается ездить по железным дорогам?

— Конечно, знаю, куда же деваться? Голодно больно...

— А в Ташкенте чего думаешь делать?

— Поработаю маленько.

— Чего умеешь работать?

— Чего придется. Можа, навоз кому почистить или за плугом ходить...

Покрутил головой Дунаев, самый главный, улыбается.

— Вот что, Михайла Додонов: мальчишка ты ловкий. По-правильному я должен наказать тебя за это, чтобы ты еще ловчее был. Завтра будешь дрова таскать вместе с бабами безбилетными. Поработаешь — дальше поедешь. А бесплатно у нас не полагается ездить. Понял?

Мишка ждал хуже.

Вышел из ортчека с милицейским, сказал облегченно:

— Работы я не боюсь. Чего хошь заставь — сделаю...

16

Длинный день! Тянется, и конца ему нет. Сначала солнышко на гору все поднималось, потом все под гору спускалось, а до вечера далеко. И дров казенных целые горы — когда перетаскаешь по одному полену? Напружинивал

Мишка крепкую мужицкую спину — сразу по три тащил. Выворачивались глаза от натуги, вздрагивали, мотались короткие ноги в широких лаптях. Думал, похвалит кто за усердную работу, а бабы ругаются:

— Ты, мальчишка, не больно надсаживайся: здесь — не дома.

— А что?

— Силу береги.

Первой свалилась кудрявая девка с голыми оцарапанными ногами. Голова закружилась, и во рту затошнило у нее. Поглядела она вокруг помутившимися глазами, белая сделалась вся. Схватила себя за голые оцарапанные ноги — не поймет ничего. Будто бабы и будто не бабы около нее. Ткнулась носом в землю и давай палец сосать.

— Что, Настенька, смерть твоя?

— Силушки нет.

Положила смерть Настенькину голову на березовое полено и ноги согнула ей около самого подбородка. Покормить бы умирающую в складчину — легче будет! — хлеба негде взять. Своим поделиться — жалко: и себя обидишь и ее не накормишь.

— Ладно, жизнь такая.

Встревожились бабы и снова умолкли.

Каждой думалось о себе: «Доеду ли?»

Стояли полукругом нахохленные, злые, голодные, а Настенька в этом полукруге лежала покорная, тихая, с голыми оцарапанными ногами. Когда вечером повели на станцию ее, Мишка позади шел тяжелой походкой. Низко сидел старый отцовский картуз, закрывая глаза козырьком, болели надерганные руки.

Теперь он — не маленький, видит, какие дела. Придется и ему захворать нечаянно — кто поможет? Надо будет самому держаться, что-нибудь выдумать. Иначе — смерть.

Но как ни думал Мишка — выходило плохо.

Пробовал он по вагонам пройти — не дают.

Такими глазами смотрят, словно заразный он.

Таким голосом гонят, будто всю жизнь ненавидели Мишку.

Кто-то даже из горшка плеснул прямо на голову.

Здорово рассердился Мишка:

— Ишь, буржуи, черти! Красных на вас пустить хорошенько...

Отошел немного, опять вернулся.

«Можа, корочку выкинули вместе с водой».

Присел на корточки в темноте, начал пальцами шарить под ногами. Нащупал чего-то, а это — камешек. Нащупал еще чего-то, а это — дерьмо ребячье. Вытер Мишка пальцы о коленку и глаза закрыл от обиды.

— Как смеются над нашим братом!

Подумал, подумал, опять шарить начал. Нащупал рыбью косточку, губами обдул, о рубашку потер.

«Кабы не захворать с нее: под ногами валялась...»

А рот уже сам разевался, и щеки голодные двигались от нетерпенья: «Ешь, с рыбы не захвораешь».

Захрустела косточка на зубах, потекли по губам голодные слюни. «Ладно. Куда же деваться?»

17

На вокзале Настенька лежала под лавкой.

И мужик вот так валялся на той станции, и мальчуган с облезлой головой — много народу, помочь некому. Плачут, плюют, ругаются, стонут. Свое горе у каждого, своя печаль мучает.

И вошла тут в Мишкино сердце такая тоска, хоть рядом с Настенькой ложись от тоски. Но Мишке нельзя этого делать.

В Ташкент поехал, должен доехать. Лучше дальше умереть, чем на этом месте. Неужели не вытерпит? Вытерпит. Ночью нынче обязательно вытерпит. А утром завтра юбку бабушкину продаст. Дадут фунтов на пять печеного хлеба — и больно гожа. Сразу не станет есть. Отломит полфунта, остальное спрячет. Пять фунтов — десять полфунтов — на десять дней. В десять дней можно туда и оттуда приехать, если поезда не станут стоять.

Хорошо легли Мишкины мысли, по-хозяйски.

Маленько полегче стало.

Мужики в углу про Ташкент говорили, упоминали Самаркан. Тоже город, только еще за Ташкентом четыреста верст. Наставил уши Мишка, прислушался. Хлеб очень дешевый в Самаркане, дешевле, чем в Ташкенте. А в самом Ташкенте цены поднимаются и вывозу нет — отбирают. Если к сартам [1] удариться, в сторону от Самаркана,— там совсем чуть не даром. На старые сапоги дают четыре пуда зерном, на новые — шесть. Какая, прости господи, юбка

---

[1] Сарты — шовинистическое, презрительное наименование населения Средней Азии.



бабья — и на нее полтора-два пуда. Потому что Азия там, фабриков нет, а народ избалованный на разные вещи. Живет, к примеру, сарт, у него четыре жены. По юбке — четыре юбки, а чай пьют из котлов. Увидят самовар хороший — двенадцать пудов.

Потревожили разговоры хлебные Мишкину голову — защемило, заныло хозяйское сердце. Тут же подумал про юбку: «Не продам, можа? Вытерплю?»

Полтора-два пуда — не шутка. Сразу можно все хозяйство поправить. Уродится к хорошему году — тридцать пудов. Сколько мешков можно насыпать! И себе хватит и на лошадь останется, если купить.

Закачалась перед глазами спелая пшеница, изогнулась волной под теплым лопатинским ветерком. Стоит Мишка в мыслях хозяином на загоне, разговаривает с мужиками лопатинскими.

«Ну как, Мишка, жать пора?»

«Завтра начну».

А вот и мать с серпом, и Яшка-брат с серпом, Федька без серпа ползет — маленький...

Обязательно надо терпеть.

Юбку здесь нельзя продавать.

Пойдет если поезд не рано, можно по вагонам походить. Всякие люди есть: кто прогонит, кто подаст.

Долго ходил по платформе Мишка — утомили хозяйские мысли, ноги не двигались. Устал. Сел около вагона отдохнуть маленько, да так и уснул, прислонившись головой к колесу. Крепко укачал голодный рабочий день, убаюкала радость мужицкая, ничего не увидел во сне.

Утром вскочил непонимающий: за спиной больно легко.

Вскинул руки назад, а мешка там нет.

«Батюшки!»

Бросился под вагон — нет.

Метнулся вперед — нет.

Обежал кругом четыре вагона — нет и нет.

«Господи!»

Пот выступил на лбу, под рубашкой мокро, и сердце закаменело — не бьется.

Подогнулись ноги, размякли.

Сел Мишка на ржавый рельс, горько заплакал.

Легло большое человеческое горе на маленького Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом он между шпалами, вывернул лапти с разбитыми пятками и забился ягненком под острым ножом.

Не мешки украли с юбкой — последнюю радость.

Надежду последнюю утащили.

18

Плакал Мишка час, плакал два часа — чего-нибудь делать надо. Выплакал горе на одну половину, зашагал по рельсам за станцию — уйти надо с этого места. Ушел сажен двести, про Сережку вспомнил: проститься бы с ним.Можа, не увидишься. Найдется хороший человек — пожалеет, не найдется — конец. Еще маленько он, пожалуй, потерпит, а если до вечера не дадут — не знай, что будет с ним: наверное, свалится... Ляжет с горя и не встанет никогда. Людям не больно нужно, и увидит кто, нарочно отвернется. Много, скажет, ихнего брата валяется, пускай умирает...

Ты, солнышко, не свети — этим не обрадуешь.

И ты, колокол, напрасно на церкви звонишь...

Тяжелая печаль — тоска человеческая.

Хлебца бы!..

В больнице Мишку неласково встретили.

— Чего надо?
— Сережка здесь лежит.
— Завтра приходи, нынче нельзя.
— Мне ненадолго.
— Умер он, нет его.
— Как умер?
— Иди, иди. Не знаешь, как умирают? Зарыли. Вот тебе и Сережка!

Какой несчастливый день! Посидел Мишка на больничном крылечке, под дерево лег.

Плохо обернулось: юбки нет, и хлеба никто не дает. А зачем это грачи кричат? Вот и этот ползет, как его... жук. Поймать надо и съесть. Ели собак с кошками лопатинские, а жук этот, как его...

А вон воробей прыгает. Все-таки есть и воробьи пока. Угу!.. Яшку бы с ружьем на него...

Встала над Мишкой сухая, голодная смерть, дышит в лицо ржаным соленым хлебом. Откуда хлеб?.. Поднимает щепочку, и щепочка хлебом пахнет. Понюхает — бросит... Выдернет травку — пожует. И опять глаза тоской закроются.

Смерть.

А все-таки есть хорошие люди.

Стояла над Мишкой сухая, голодная смерть, пересчитывала последние часы и минуты Мишкиной жизни. Уже по губам провела холодными пальцами, на спину положила: гляди в последний раз на чужое далекое небо — наглядывайся. Бегай мыслями в отчаянье между Ташкентом и Лопатином, отрывай от сердца думы мужицкие. Стучала смерть, словно сапогом тяжелым, по Мишкиным вискам, в уши нашептывала: «Зачем плачешь? Все равно никто не пожалеет».

А в это время товарищ Дунаев из ортчека проходил, увидал мальчишку знакомого, остановился:

— Ба! Михайла Додонов. Ты что здесь валяешься?
— Мочи нет.
— Что с тобой?
— Обессилел я.
— А-а, это нехорошо!

Глядит Мишка на товарища Дунаева — человек будто хороший и голосом ласковый. Не рассказать ли ему свое горе, можа, пожалеет... Вот и звезда красноармейская у него, наверное, как Иван их — коммунист.

— Товарищ Дунаев, нет ли у вас кусочка маленького?

— Зачем тебе?

— Есть больно хочется, боюсь захворать...

А Дунаев веселый.

— Зачем боишься?

— Мать у меня дома осталась: не вернусь — и она пропадет с ребятишками. Поддержите в таком положении!..

Чешет Дунаев усы одним пальцем, улыбается:

— Ну, что же! Поддержать надо, если такой ты отчаянный. Шагай за мной потихоньку.

Сон снится или наяву происходит?

Пришли в ортчеку. Дунаев говорит своему подчиненному:

— Товарищ Симаков, этого мальчишку накормить надо и на поезд сунуть. Пускай проедет станции четыре.

Нет, это не сон.

Дали Мишке четыре куска и супу котелок поставили, сами смеются.

— Ешь, Михайла Додонов, не робь! Будешь отчаянным — не пропадешь. Ты беспартийный?

А у Мишки от радости ложка не держится.

— Ячейка у нас есть.

— Ходишь в нее?

— Ну, есть когда. Иван у нас из коммунистов, он ходит.

Чешет усы товарищ Дунаев одним пальцем, Мишку разглядывает.

— Хороший ты мужик, Михайла Додонов. Вылизывай все...

Навалился Мишка с голодухи на горячую пищу — инда потом ударило по всему телу, дышать тяжело: лишнего переложил. На носу и около ушей каплюшки повисли.

— Ну, как теперь? Доедешь?

— Доеду.

— Посади его, товарищ Симаков, от моего имени. Скоро поезд пойдет на Ташкент.

Чудные люди. То сами арестовывают, то сами на поезд сажают. Или горе Мишкино помогло тут, или на самом деле народ такой есть...

Растворил товарищ Симаков двери вагонные, мужики к нему — сразу десять человек. Начальник чего хочешь может сделать.

— Посадите вот этого мальчишку к себе.

— Некуда, товарищ! С полным удовольствием...

А Симаков и сам нарочно притворился:

— Нельзя, товарищи, мне приказано посадить — начальник велит.

Мужики расступились.

Глядят на Мишку со всех сторон, глазами щупают. Что за человека к ним сажают — почет такой!

19

Тронулись ночью.

Громко орал паровоз на подъемах, скоблился, пыхтел, а под гору падал стремительно, точно в пропасть огромную. Страшно качался вагон, готовый сорваться колесами с рельсов, летели мешки со стенок, грохались сундучки, хлопали железные ставни в двух окнах, торопливо хватающих теплые звезды на черном убегающем небе. Как лошади, возились мужики в темноте, били по головам друг друга вытянутыми ногами, шарили мешки, перекидывали сумки.

— Чей сундук?

— Чья кружка подо мной?

— Это кто?

— А это кто?

— Куда тычешь в рыло?

Чиркали спички, выедая неровные пятна, лезли на глаза короткие обезображенные туловища с двигающимися бородами, взвизгивали бабы.

Мишка лежал облегченный.

Успокоила его горячая пища и хлеба за пазухой четыре куска.

Жалко бабушкину юбку, но мешки не такие, чтобы из-за них не дышать: малы и с заплатками. Если посчастливится в Ташкенте на работу поступить, мешки можно новые достать. Теперь он не маленький. А о юбке лучше не думать. Такая наука нашему брату — рот не разевай. Разве можно класть в одно место все вещи? Вот и ножик потому целый остался — на поясе был. Положи в мешок — тоже бы пропал.

Потрогал Мишка ножик складной, спрятал за пазуху. Брюхо ремнем стянул покрепче, потом передумал. Лучше на ремне, только бы веревочка не порвалась. Таких ножей теперь не найдешь: «Бритва! Любую палку перережет».

Можно и пиджак на базар отнести. Берут бабьи юбки, возьмут и пиджак кому надо. Унывать не стоит. Пиджак,

ножик, ремень солдатский. Если нет там фабриков настоящих, и на картуз охотники будут. За пиджак, к примеру, два пуда, за картуз с ножом — полпуда.

Прошло мимо Лопатино село, встала перед глазами изба голодная, а в избе голодной мать хворая лежит, Мишку с хлебом дожидается. Яшка воробьев на огороде разыскивает. Ни за что не догадаются дугу под сараем поднять. Забыл Мишка положить ее на место, а Яшка не догадается... Любит до смерти палочки тесать — плотник самодельный. Учить бы хорошенько на мастерового, да где к такому году: еле-еле без ученья продержаться. Навалилась беда на мужиков — не стряхнешь. Если вернется Мишка из Ташкента — первым делом о посеве подумать надо. Можа, способья дадут к тому времени. Без своего загона опять придется по Ташкентам ездить, мученья сколько принимать.

Разложился Мишка мыслями хозяйскими в темном набитом вагоне, накидал в уме пудов с фунтами, про Сережку вспомнил: «Плохой он был, слабосильный.— А ты? — Я маленько потверже».

В это время мужик какой-то дернул за ногу:

— Ты, мальчишка, куда едешь?..

Мишка не откликнулся.

Опять мужик за ногу дернул:

— Спишь, что ли?

Мишка притворился: пускай думают, что он спит. Можа, про него станут говорить: это интересно.

А мужик ругается другому мужику:

— Зачем мы посадили этого парнишку? Выкинуть надо к черту...

Другой мужик говорит:

— Выкинуть его нельзя: ортчека посадила.

— А зачем нам ортчека? Мы заняли вагон, мы должны и думать о нем. Хорошо настоящего человека посадить, тот заплатит, а с этого чего возьмешь?

Устроил Мишка ладонь трубкой, приставил к уху, слушает.

«Неужто такое право имеют — из вагона выкинуть?»

Опять сказал другой мужик первому мужику:

— Лучше не связывайся с этим мальчишкой. Шут его знает, кто он такой! Можа, родственником приходится ортчека? Выкинь попробуй, и не развяжешься потом.

Слушает Мишка в темноте, улыбается: «Ага, боитесь маленько!»

Спорят мужики, что им с Мишкой делать, а Мишка нарочно похрапывает, будто не слышит.

«Ругайтесь! Я теперь все ваши мысли знаю...»

Опять другой мужик говорит первому мужику:

— Гнать мы его не будем. Выползет он «на двор» завтра утром — больше не пустим.

Мишка похрапывает.

«Думайте! Ни за что не слезу, два дня буду терпеть...»

Через час и мужики потыкались головами друг на друга, угомонились.

Легла темнота непроницаемая в закупоренный вагон, перепутала руки-ноги. Перестали и бабы возиться, стиснутые мужиками.

Ползет по изволокам паровоз, на подъемах громко вскрикивает. То разбежится на несколько верст, то медленно-медленно покачивается, колесами постукивает, а под мирный стук колес вяжутся и рвутся засыпающие мысли у притворившегося Мишки:

«Еду, еду — раз!
Ловко, ловко — два!
Так-так-так! Так-так-так!
Молодец, молодец!
Ты приедешь, ты приедешь!
Раз, раз, раз!
Не робей, не робей, не робей!
Ремень-ножик! Ремень-ножик!
Пуд-пуд-пуд!»

20

Оренбург.

Пасмурное утро.

Прохватывает ветерок.

Сидит Мишка в уголке, из вагона не выходит. Надо бы в город сбегать, «на двор» маленько сбегать — разговор ночной не пускает. Ладно, потерпеть можно.

Мужики разложились с жарниками около вагонов, ведра повесили. Кто жарит, кто парит — так и бьет капустой в нос. Бабы картошку чистят, мясо режут, огонь губами раздувают. Денежный народ собрался в Мишкином вагоне.

Принес мужик четыре дыни, начал сдачу пересчитывать. Увидел Мишку в углу — отвернулся. Другой мужик табаку мешок притащил: табак здорово по дороге идет. За каждую чашку — пятьсот, а киргизы ни черта не по-

нимают. Шутя можно сорок тысяч нажить, и сам будешь бесплатно покуривать.

Еще двое самовар притащили, машинку для керосину — обед готовить, сапоги с наделанными головками, три топора.

Все утро бегали по оренбургским базарам, набили вагон сверху донизу: табаком листовым, табаком рассыпным, самоварами, ведрами, чугунами, топорами, пиджаками, ботинками, юбками — повернуться негде.

Еропка, мужик маленький, тоже из Бузулукского уезда, подцепил часы «американского золота». Сказал кто-то — часы хорошо в Ташкенте берут,— он и купил за двенадцать тысяч. Глядел-глядел на них — головку свернул. Стали часы — нейдут. И к правому уху, и к левому уху прикладывал их Еропка — нейдут. Пропали двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил.

Или оттого, что часы нейдут, или еще какое горе ущемило Еропкино сердце,— увидел он Мишку в вагоне, рассердился:

— Чей это мальчишка едет здесь?

И мужики словно только сейчас увидели Мишку:

— Кто его посадил к нам?

— Ты куда едешь, товарищ?

Поглядел Мишка на мужиков, поправил старый отцовский картуз, говорит, как большой настоящий мужик.

— Еду в Ташкент, дядя у меня комиссаром там.

— А сам откуда?

— Я сам дальний. Бузулукского уезда.

— Какой волости?

— Волость у нас Лопатинская.

— А как фамилия твоему дяде?

Мишка глазом не моргнул.

— Фамилья ему не наша: мне — Додонов, ему — Митрофанов. Брат он приходится моей матери, коммунист.

Еропка, мужик маленький, сказал:

— Я сам Бузулукского уезда, двадцать верст от вашего села, а такой фамилии не слыхал: ты, наверное, врешь!

Мишка глазом не моргнул.

— Что мне врать! Справься в ортчеке, там знают.

— Кого?

— Дядю Василья.

Еропка головой покачал.

— Что-то не верится мне. Который тебе год?

— Четырнадцатый.

Переглянулись мужики, обшарили Мишку глазами со всех сторон:

— Обманывает, сукин сын!

Подошел Семен, красная борода, строго спросил:

— Деньги есть?

Мишка глазом не моргнул.

— Есть.

— Сколько?

— А у тебя сколько?

Все засмеялись от такой неожиданности.

— Ай да мальчишка! Не сказывай ему — в карман залезет.

Прохор косматый больше всех поверил в Мишкину силу. Подсел поближе, разговор хозяйский завел:

— Давно твой дядя в Ташкенте служит?

— Третий год.

— Там останешься или домой вернешься?

Мишка лениво плюнул мимо Прохоровой бороды.

— Увижу. Понравится — останусь, не понравится — домой поеду. Даст хлеба бесплатного дядя пудов двадцать, и хватит до нового нам.

— А семья большая у вас?

Понравилось Мишке мужиков обманывать — неопытные, каждому слову верят. Поправил старый отцовский картуз, начал рассказывать теплым, играющим голосом. Семья у них небольшая: мать и два брата. Отец в ортчека служил полтора года — из коммунистов он. Ну, убили его белогвардейские буржуи, теперь им пенсию высылают за это. А который сажал Мишку на той станции, тот товарищ отцу приходится, самый главный начальник. И письмо от него везет Мишка тому самому дяде, который в Ташкенте комиссаром служит. А этот самый дядя тоже письмо прислал Мишкиной матери: пускай, говорит, приедет мальчишка ко мне, я его поставлю на хорошую должность и хлеба могу выслать без задержки. Два раза лопатинские мужики ездили к нему. Даст им дядя бумагу казенную — никто не трогает. Которых остановят, у которых совсем отнимут, а они покажут бумагу с дядиной печатью — пальцем не имеют права тронуть.

Наслушался Прохор Мишкиных сказок, позавидовал:

— Ты, видать, здоровый человек! Надо с тобой подружиться маленько.

Мишка глазом не моргнул:



— Чего со мной дружиться? Увидимся в Ташкенте — помогу.

— Как?

— Через дядю...

Сразу обогрела Прохора такая надежда. Заерзал, завозился он около Мишки, и голос ласковый сделался у него:

— Это бы хорошо, мальчишка... Сам знаешь, какие наши дела... Отнимают!

— Со мной не отнимут...

Тут и еще мужик подсел в хорошую компанию, слушать больно приятно.

— Ты что, паренек, не слезешь ни разу?

— Зачем?

— Маленько бы ноги размял.

Мишка улыбается:

— А чего их разминать-то, чай, они не железные!..

Наелись мужики горячей пищи, веселее стали. Трое к

бабам легли на колени, трое кисеты развязали — деньги проверять. Один мужик целую кучу наклал бумажек николаевских, другой — серебро высыпал в подол. Которые на коленях лежали у баб, песню затянули. Еропка убежал часы продавать.

Целый день ходили нищие по вагонам: бабы с ребятами, мужики босоногие. Подбирали мосолки выброшенные, глядели в вагонные двери страшными, провалившимися глазами. Плакали, скулили, протягивали руки. Боязно стало глядеть Мишке на чужое голодное горе — скорее бы тронуться с этого места. Хорошо, если поверили мужики, а выкинут из вагона — не больно гожа.

К вечеру захотелось «на двор», но выходить нельзя.

Стиснул зубы Мишка, начал в себя надувать, инда пузырь в кишках готов лопнуть. Воды много выпил, дурак, на той станции, а больше терпеть — испортиться можно.

Долго крутился Мишка, поджимая живот: и в себя надувал, и дышать переставал, зубы стискивал — никак нельзя больше терпеть. Огляделся кругом — народу немного. Только две бабы спиной к нему сидят да мужик в углу поет «Иже херувимы».

Прислонился плечом в дверях Мишка, будто на станцию глядит, и давай потихоньку пускать, чтоб не шумело.

«Слава богу, все!»

21

Зашумели ночью мужики, закрутились, тревогой охваченные. Первым прибежал Еропка, словно сумасшедший.

— Машинист не хочет ехать! Задние деньги собирают. Если здесь сидеть — дороже встанет.

— Сколько надо?

— По ста рублей с человека.

— Ах, мошенники!

— Тише, дядя Иван, не надо ругаться. Здесь сидеть — дороже встанет.

Сели кольцом мужики в темном переполненном вагоне, вытянули бороды трясучие, словно колдуны лохматые. Расстегнули нехотя пуговицы у верхних штанов, вытащили дрожащими руками глубоко запрятанные десятки из нижних штанов. Дорого стоит копеечка мужицкая! Шумят в темноте бумажки, двигаются бороды вздернутые, одна на другую натыкаются.

— Все дали?

— Все.

— А мальчишка как?
— Ну-ка, разбуди его!
— Эй ты, племянник! Деньги давай.
Хотел Мишка голову спрятать в мешках — ноги торчат. Ноги сунет в мешок — голова наружи. А мужики, как галки, теребят с двух сторон:
— Слышь, что ли?
— Давай деньги.
Долго думать тоже нельзя — догадаются, и не думать нельзя. Поднял голову Мишка, нехотя в карман полез.
— У кого ножницы есть?
— Зачем тебе?
— Деньги расшить в подоплеке.
— Марья, дай ему ножик!
Нашарил Мишка бумажку в кармане, поднятую на той станции, громко сказал, протягивая дрогнувшую руку:
— Кто собирает деньги? Держи.
— Сколько?
— Сто.
Спас темный вагон.
Сунул Еропка бумажку Мишкину в потный кулак, побежал машиниста искать. А у Мишки голова закружилась от сильного волнения и сердце затопало радостью.
Ну и народ! Про дядю насказал — верят. Бумажку сунул вместо денег — верят. Или счастье такое Мишке, иль мужики больно неопытные. Чудно!
А все-таки страшно.
Вернется Еропка, скажет:
«Выкиньте этого жулика отсюда: он мне бумажку простую сунул...»
Зажал Мишка голову обеими руками от страха, думает. И смешно ему над Еропкой, мужиком бузулукским, и страх под рубашкой ходит острыми колючками.
Вернулся Еропка, шепчет мужикам:
— Сделал! Триста верст проедем с этим паровозом — без передышки. Машинист больно попался хороший. Я, говорит, товарищи, моментом перекину вас, потому что сам понимаю, в каком вы положении.
— Значит, в точку попал?
— В самый раз.
— Это хорошо!
И Мишка в темноте улыбается: «Это больно хорошо».

22

Охватили степи киргизские тишиной и простором, крепко стиснули старый, расхлябанный паровоз, не пускают вперед. Вертит стальными локтями он, будто на одном месте крутится, голосом охрипшим помощи просит. Задыхается, пар густой пускает, как белое облако. Тает белый пар, черным дымом из трубы заволакивается. Тукают колеса, дрожат вагоны.

Не пускают вперед степи киргизские, тишиной и простором держат изогнутый хвост. Только под гору бешено срывается паровоз, крутит головой на поворотах, змеей тонкой поезд извивается. Давит мосточки играющими колесами, фырчит, задорится, локтями светлыми проворно работает. Выскочит на бугорок, словно заяц испуганный, и опять по-старичьи с натугой тащит длинный примороженный хвост.

Весело Мишке смотреть на широкие степи киргизские, на дальный дымок из долины, на огромного верблюда, высоко поднявшего маленькую голову. Поглядит верблюд на Мишкин поезд, поведет во все стороны маленькой головой на выгнутой шее — снова спрячет черные губы в колючей траве.

Ни одной деревни вокруг.

Бугры плешивые, да коршуны степные сидят на буграх.

А небо как в Лопатине, и солнышко как в Лопатине.

Ветерок подувает в раскрытую дверь.

Лежат мужики — развалились, покоем охваченные, сытыми мечтами окутанные. Мирно торчат бороденки поднятые, громыхают чайники с ведрами. Кто гниду убьет в расстегнутом вороту, кто ногтем поковыряет то место, где блоха посидела. Вытащит вошь из рубца, раздавит «несчастную» на крышке сундучной, посмеется:

— Вошь больно хорошая — жалко убивать.

— Зачем же убил?

— Без пропуска едет. Залезла под рубашку ко мне и сидит, чтобы ортчека не нашла. Проехала две станции, кусать начала! Я везу ее, и она же меня кусает. Хитрая, черт!

Ржет вагон, покатывается со смеху.

Только Еропка, мужик маленький, с горем большим на часы посматривает. Долго искал дураков на базарах оренбургских, чтобы продать им сломанные часы заместо новых,— не нашел. Торговцы над ним же смеялись:

— Дураки, дядя, все вывелись: ты самый последний остался.

Грустно Еропке, мужику маленькому.

Раскроет крышки у часов и сидит, как над болячкой, брови нахмурив. Под одной крышкой стрелки стоят неподвижно, под другой — колеса не работают. Пропали двенадцать тысяч — кобелю под хвост выбросил. А на двенадцать тысяч можно пшеницы купить фунтов пятьдесят. Налетел, черт-дурак, сроду теперь не забудет.

Если о камень разбить окаянные часы — жалко: сосут двенадцать тысяч, как двенадцать пиявок, Еропкино сердце, голову угаром мутят.

Мужики нарочно поддразнивают:

— Сколько время, Еропа, на твоих часах?

— Что, Еропа, не чикают?

— Голову свернул он нечаянно им...

— Продаст! Эта вещь цены не упустит. Только показывать не надо, когда будешь продавать...

Ржет вагон, потешается над Еропкиным горем.

Семен, рыжая борода, четыре юбки зацепил в Оренбурге. Сначала радовался, барыши считал. Проехал две станции, тужить начал. Слух нехороший пошел по вагонам: киргизские бабы и сартовские бабы юбок не носят, а в штанах ходят, как мужики.

Кряхтит Семен, рыжая борода, тискает дьявольские юбки. Упадет головой в мешки, полежит вниз рылом, опять встанет с мутными, непонимающими глазами. Выругает большевиков с комиссарами (как будто они во всем виноваты!), плюнет, зажмет горе в зубах, снова ткнется головой в мешки.

Иван Барала примеряет сапоги на левую ногу. Три пары купил он, радуется малым ребенком. За старые дают три пуда зерном, а у него совсем не старые. Стучит Иван Барала ногтем в подметку, громко рассказывает:

— Два года проносятся, истинный господь! Как железные подметки — ножом не перережешь...

Мишке легче.

Если бабы киргизские ходят в штанах, значит, и жалеть не стоит бабушкину юбку. Все равно дорого не дадут за нее — старенькая она. Пощупал ножик складной, улыбнулся: «Бритва! Любую палку перережет».

Прохор около Мишки голубком кружит, заговаривает, носом пошмыгивает, ласково чвокает. Это не плохо, если дядя у мальчишки комиссаром. Всякий народ нонче. Кото-

рый большой — ничего не стоит, который маленький — пить даст. Надо пристроиться к нему: можа, на самом деле помогу окажет.

Ходит маятником Прохорова борода возле Мишкиного носа, а голос у Прохора ласковый, так и укрывает с головы до ног.

Вытащил кошель с хлебом, подал и Мишке маленький кусочек.

— Хочешь, Михайла?

— А сам что не ешь?

— Кушай, не стесняйся: будет у тебя — и мне дашь. Надо по-божески делать...

Притворился Мишка, спокойно сказал, обдувая пыльный кусочек:

— Урюку дядя полпуда хотел дать.

— Тебе?

— Матери моей.

— Урюк — штука хорошая, только, наверное, дорогой?

— Ну, что ему, он богатый!

Говорит Мишка большим, настоящим мужиком, сам удивляется: «Вот дураки, каждому слову верят!..»

23

А киргизы совсем не страшные, чудные только. Жара смертная, дышать нечем от раскаленных вагонов на станции — они в шубах преют, и шапки у каждого меховые, с длинными ушами. Лопочут не по-нашему: тара-бара, тара-бара — ничего не поймешь! Ходят с кнутами, сидят на карачках. Щупают пиджаки у мужиков, разглядывают самовары, трясут бабьи юбки.

Еропка, мужик маленький, сразу троих привел, кажет часы на ладони, стоит подбоченившись. Сейчас надует киргизов, потому что Азия — бестолковая.

Светят зубами киргизы, перебрасывают часы с рук на руки, пальцами крышки ковыряют. Еропка кричит в ухо старому сморщенному киргизу:

— Часы больно хорошие — немецкой фабрики!

Киргиз кивает головой.

— «Мериканского» золота! — еще громче кричит Еропка.

Семен, рыжая борода, вытаскивает юбки из пыльного голубого мешка, расправляет их парусом, тоже кричит киргизу в самое ухо:



— Бик якша![1] Барыни носили.

Лопочут киргизы — тара-бара, тара-бара! — ничего не поймешь.

Семен чуть не пляшет около них.

— Господскай юбка, господскай. Москва делал, большой город...

Иван Барала ножом ковыряет подметку у сапог.

— Бабай[2], щупай верхи, щупай! Да ты не бойся, их не изорвешь. По воде можно ходить — не промочишь. Из телячьей кожи они. Сам бы носил — тебя жалко.

Кивают киргизы меховыми шапками, неожиданно отходят. Еропка за ними бежит:

— Шайтан-майтан, жалеть будешь мои часы!

— Стой, мурло! Давай три пуда.

Киргиз машет руками.

Много товару из вагонов вывалилось, еще больше — крику. Серебро на бумажки меняют, золото на бумажки не меняют. Черпают табак из мешков, машут пиджаками, юбками, постукивают сапогами.

Хочется Мишке по станции побегать — боязно: не поспеешь на поезд прыгнуть — останешься. Увидал, киргиз мимо идет — не вытерпел: вытащил ножик складной, кажет. Киргиз остановился. Взял ножик у Мишки, разложил, зубами светит, пальцами лезвие пробует. Мишка кричит что есть духу, высовываясь из вагона:

— Продаю!

Киргиз лопочет по-своему, вертит головой.

Еще громче Мишка кричит:

— Пуд!

Еще пуще киргиз вертит головой.

Мишка беспомощно оглядывается. Морщит брови, чтобы найти понятное слово, нарочно ломает слова русские — скорее поймет.

— Пшенич, пшенич! Пуд!

Русский из другого вагона говорит киргизу по-киргизски:

— Пуд!

Киргиз сердито плюется.

— Э-э, урус!

Мишка тихонько спрашивает русского:

— Сколько дает?

---

[1] Бик якша — очень хорошо.

[2] Бабай — старик, дедушка.

— Ничего не дает, ругается.

А когда киргиз уходит, Мишка кричит ему вслед:

— Киргиз, киргиз! Шурлюм-мурлюм-курлям! Купи картуз.

Смеются мужики над Мишкой, и сам Мишка смеется, как он по-киргизски ловко научился говорить. Не терпится ему, не сидится, через минуту прыгает из вагона. По носу бьет горячими щами из больших чугунов. Торговки над чугунами громко выкрикивают:

— Щей горячих, щей!

На листах железных печенки жареные лежат, головы верблюжьи, потроха бараньи, вареная рыба. Манят четверти топленым молоком, за сердце хватают хлебные запахи.

Треплет Мишка старый отцовский картуз, показывает ножик с ремнем:

— Купи, купи!

Заглядится на печенки с бараньими потрохами, остановится:

— Тетенька, дай голодающему!

Замахнется половником торговка, опять нырнет Мишка в толчею людскую, бегает вокруг киргизов. Оцепят киргизы со всех сторон, такой крик поднимут — и сам Мишка не рад. Кто ножик тащит, кто — картуз. Один, самый старший, с черными зубами, даже за пиджак ухватил. Лопочет, раздевает, чтобы пиджак примерить. Мишка кричит киргизам:

— Дешево я не отдам!

Напялил пиджак киргиз, а вагоны у поезда дернулись.

Вырвал пиджак у киргиза Мишка — ножа нет.

Отыскался ножик — ремень киргизы рвут друг у друга.

Чуть не заплакал Мишка от такой досады:

— Давайте скорее, некогда мне!

А вагоны двигаются. Прямо на глазах двигаются.

Вертятся колеса, и вся земля вертится, вся станция с киргизами вертится. Бежит Мишка с правой стороны, а двери у вагонов отворены с левой стороны. Если под вагоны нырнуть — колесами задавит. Бежит Мишка жеребенком маленьким за большой чугунной лошадью — лапти носами задевают, пиджак на плечах кирпичом висит. Не бегут ноги, подкашиваются. Тяжело дышит разинутый рот — воздуху не хватает.

Увидал подножку на тормозной площадке, ухватился на ходу за железную ручку обеими руками — так и дернуло Мишку вперед. Не то голова оторвалась, не то ноги позади

остались, а голова с руками на железной ручке висят. Тянет туловище Мишку вниз, под самые колеса, словно омут засасывает в глубокое место. Хрупают колеса, пополам разрезать хотят, на мелкие кусочки истереть. Болтает Мишка ногами отяжелевшими, а вагоны все шибче расходятся, а ноги в широких лаптях будто гири тяжелые тянут вниз, и нет никакой возможности поднять их на приступок. Руки разжать — головой о камни грохнешься, о железные рельсы.

«Прощай, Ташкент!

Прощай, Лопатино село!

Смерть!»

Оторвутся Мишкины руки — вдребезги расшибется Мишкина голова.

Но бывает по-другому, когда умирать не хочется.

Не хотелось Мишке умирать.

Собрал он последние силы, натянул проволокой каждую жилу, ногами подножку нащупал. Изогнулся, опрокинулся спиной вниз — легче стало держать каменный отяжелевший зад.

«Теперь не упаду».

Обрадовался маленько, а с площадки человек смотрит сердитыми глазами. Что-то сказал, но колеса вагонные поглотили голос, смяли торопливыми стуками. Не понял Мишка, только поглядел жалобно на человека сердитого.

— Дяденька, поддержи!

Смяли и Мишкин голос колеса вагонные, проглотили стуком, откинули в сторону мимо ушей. Долго глядел человек на повисшего Мишку, вспомнил инструкцию — не возить безбилетных.

«Пускай расшибется!»

А потом (это уже совсем неожиданно) ухватил Мишку за руку около плеча, выволок на площадку. Поставил около сундучка с фонарем, сердито сказал:

— Убиться хочешь?

Мишка молчал.

— Чей?

— Лопатинский.

— С кем едешь?

— С отцом.

— А отец где?

— В том вагоне.

Оглядел человек суровыми глазами Мишку, отвернулся:

— Надоели вы мне!

Мишка молчал.

Сидел он около сундучка, вытянув ноги в больших лаптях, не мог отдышаться с перепугу. Ломило вывернутые руки, кружилась голова, чуть-чуть позывало на рвоту. Хотелось лечь и лежать, чтобы никто не трогал.

Опять прошло Лопатино в мыслях.

Выглянула мать голодающая, два брата и Яшкино ружье на полу. Тряхнул головой Мишка, чтобы не лезли расстраивающие мысли, равнодушно отвернулся от давнишней печали. Никак не уедешь от нее. Мишка в Ташкент — и она за ним тянется, как котенок за кошкой. Хорошо, характер у него крепкий, плакать не любит, а то бы давно пора зареветь громким голосом. Выпало счастье от товарища Дунаева, опять потерял.

Лезут мысли нехорошие в голову, расстраивают Мишкино сердце, выжимают слезы из глаз.

Колеса вагонные дразнят:

Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!

Не доедешь,
Не доедешь,
Смерть!

Вынимает человек из сундучка хлебную корку, бережно обкусывает маленькими крошками, косится на Мишку, Мишка отвертывается.

— Куда едет твой отец?

— В Ташкент.

— Разве слаще умирать в Ташкенте?

— Чего?

— Так, ничего. Хлеба вам там припасли, растопырьте карманы.

Стучат колеса.

Бегут от поезда степи киргизские — пустые, безводные.

Мелькают столбы телеграфные.

Не сидит воробей на них.

Не треплется мочалка на проволоке телеграфной.

Ни один мужик не проедет мимо насыпи по узенькой дорожке.

Степь огромная без деревень.

Пустырь без собачьего лая...

Только бугры высокие с синими головами, да воздух над буграми рекой переливается. Проскочит мимо будка разоренная, с выбитыми окошками. Бросится в глаза сорванная крыша, напомнит Лопатино, где стоят пустые голодные избы. Схватит тоска непонятная Мишкино сердце, сожмет в кулак, ниже опустится голова разболевшаяся.

— Много денег везет твой отец?

Это все человек мучает разными вопросами.

Не хочется Мишке языком ворочать, надоело и хвастать каждый раз. Но как же ему доехать без этого? Все допытываются, перед всеми надо увертываться. Не увернешься — ссунут. Бросят котенком на самой дороге, выкинут в степь без людей и жилья, скажут:

— Жулик он! Нет у него ни отца, ни матери. Без билета едет и без пропуска.

Смотрит Мишка усталыми покрасневшими глазами, говорит спокойно, как большой настоящий мужик:

— Денег было много — утащили половину.

— Где?

— Карман на станции срезали.

Человеку становится весело.

— Значит, дурак, если свой карман проворонил!

— Неопытный! — вздыхает Мишка.

— А ты как отстал?

— Брюхо у меня заболело. Сел «на двор» маленько, а вагоны пошли. Отец кричит: «Садись скорее!» Я споткнулся, ухватился вот тут, насилу удержался. Спасибо, ты мне руку подал...

— А если бы не подал?

— Тогда бы убился.

— Хлюст ты, видать!

— А ты, дяденька, кто?

24

Ночью пришлось слезать.

На станции горели фонари бледным светом.

В темноте копошились люди.

Двигались огромными толпами, толкая друг друга, тонули в криках, в тонких голосах плачущих ребятишек.

Лежали стадами, плакали, молились, ругались голодные мужики.

Точно совы безглазые, тыкались бабы:

с закутанными головами,

с растрепанными головами.

Тащили ребят на руках,
тащили ребят, привязанных к спине,
тащили ребят, уцепившихся за подол.

Словно овцы изморенные, падали бабы около колес вагонных, кидали ребятишек на тонкие застывшие рельсы.

Щенками брошенными валялись ребята:
и голые,
и завернутые в тряпки,
и охрипшие, тихо пикающие,
и громкоголосые, отгоняющие смерть неистовым криком.

Еще одним горем прибавилось в гуще голодных и злых, переполнивших маленькую киргизскую станцию. Еще одна капля человеческого страдания влилась, никому не нужная, никем не замеченная.

Вытряхнул кондуктор Мишку, весело сказал:

— Довез тебя до этого места, говори — слава богу. Теперь иди отца ищи.

Далеко Мишкин отец.

Походил он в чужом голодном стаде, согнанном из разных сел и деревень, тяжко вздохнул. Начал вагон искать, в который посадил его товарищ Дунаев, а ночью все вагоны одинаковые, все вагоны заперты, словно амбары, насыпанные пшеницей.

Заперлось, загородилось горе вшивое, никого не пускает.

Поторкался Мишка в один вагон, кто-то крикнул в маленькую щелочку:

— Чего тебе надо?

— Наши едут здесь.

— Шагай дальше! Ваши уехали, остались только наши...

Поторкался в другой вагон — не ответили.

Из третьего закричали:

— Чего людей беспокоишь?

— Не пускай всякий сброд!

Обошел Мишка два раза длинный, растянутый поезд, поежился, поморгал глазами, сел.

— Черти безжалостные! Съем я, что ли, ваши вагоны?

Пошел.

А идти некуда.

Стоят вагоны темные в три ряда. И ночь будешь ходить — не отворятся, и день будешь ходить — не отворятся. Везде ползают люди:

под вагонами,
за вагонами,
на станции,
за станцией.

А горе свое рассказать некому.

Лезет горе Мишкино из глаз опечаленных, но плакать Мишке нельзя: это он хорошо знает. Никто не услышит голос жалобный, никто не поднимет слезу упавшую.

Надо терпеть.

И отец покойный всегда говорил: «Слезами беде не поможешь».

Все равно Мишка должен доехать, если поехал. Теперь уж, наверно, немного осталось, а назад не вернешься... Попадется на дороге город большой, можно будет ножик с ремнем продать. Начал Мишка высчитывать, который день, как он из дому ушел, перепутал: если нынче среда, то десять дней, а если пятница — двенадцать дней.

За станцией в ящике навозном рылся мальчишка, залезая головой по самые плечи. Остановился Мишка около него, поглядел с любопытством:

— Ты чего тут делаешь?

Не ответил мальчишка.

Взглянул равнодушно, опять залез по самые плечи. Вытащил мосол, сунул за пазуху. Подошел и Мишка к ящику с другой стороны, тоже стал торопливо рыться. Оба рылись молча, хватая друг друга за руки. Через минуту Мишка залез в ящик с ногами, мальчишка в озлоблении дернул его за рукав:

— Я тебя звал сюда?

— Сам пришел!

Мишка в ящике казался маленьким — торчала одна голова. Хотел мальчишка или ударить его по высунутой голове, или картуз закинуть в сторону. В это время пробежала собака с огромной горбушкой в зубах. Увидал мальчишка горбушку в собачьих зубах, стремительно бросился за собакой, размахивая руками. Выскочил и Мишка из ящика.

— Кидай кирпичом!

Кирпича под руками не было.

Схватил Мишка обрубок рельсы, но поднять не мог.

Бежали двое голодных с двух сторон, а собака, подбрасывая задом, убегала за станцию, в поле. Легко перескочила канавку за станционными огородами, остановилась на бугорке, держа в зубах украденную горбушку.

Остановились и ребята.

С темных сырых огородов бежали еще собаки.

— Укусят! — сказал Мишка.

Мальчишка мрачно ответил:

— На одну бы я пошел с хорошей палкой.

— Тебя как зовут?

— Трофим.

— Айда назад.

— Погоди, сейчас они драться будут.

— Зачем?

Трофим не ответил.

Стоял он в одной рубашке с разорванной грудью, босиком и без шапки. На плечах, вместо пиджака, висел обрывок рогожки, стянутый веревочкой под горлом, и маленький неразговорчивый Трофим в таком наряде похож был на маленького смешного попа в коротенькой ризе.

Собаки обнюхались молча.

Потом зарычали, оскалились, налетели на ту, что держала горбушку в зубах, свились клубком, кувыркнулись, выпрямились, снова наскочили.

Долго смотрел Трофим на них молча, немигающими глазами, потом сказал глухим, загробным голосом:

— Хорошо с собачьими зубами быть.

Мишка на минуточку оробел, разглядывая Трофима. Кто он такой, в коротенькой поповской ризе?

Схватит Мишку по-собачьи за самое горло, повалит вот тут и отнимет пиджак с картузом. Теперь богатых везде убивают, а Мишка богаче Трофима.

От страха Мишкиного Трофим еще больше вырос, освещенный месяцем на пустынном, мертвом поле, наполненном голодными, грызущимися собаками. Было собак не более пяти, а Мишке казалось — тысячи их с оскаленными ртами, и когда перегрызут друг друга, станут они людей на станции грызть.

Трофим неожиданно сказал:

— Ты боишься собак?

— А ты?

— Я ничего не боюсь.

— Который тебе год?

— Четырнадцатый.

Поглядел Мишка на Трофима сбоку и тоже сказал, как будто ничего не боится:

— Ровесники мы с тобой: мне тоже четырнадцатый пошел.

— Врешь!

Чтобы сделать себя большим, Мишка чуть-чуть поднялся на носках.

— Скоро пятнадцатый пойдет. Я только ростом маленький, а годами старый. Два пуда поднимаю.

— Чего?

— Чего хочешь, гирю или мешок.

На станцию вернулись друзьями.

Узнал Мишка, что Трофим из Казанской губернии, был в четырех городах, ушел из дому шестой месяц, пробирается в Ташкент. Если доедет туда, назад не вернется. Очень плохо у них в Казанской губернии, жрать нечего, поэтому и отец у Трофима помер раньше времени — тридцати восьми лет от роду. Два раза на войне был — не умер, а с голоду повалился.

Мишка сказал:

— Теперь всем мужикам плохо. С нашего брата берут, нашему брату не дают...

— В партию надо переходить! — вздохнул Трофим.

— В какую?

— К большевикам.

— Разве примут?

— Кого примут, кого нет.

— Большевиков не хвалят,— сказал Мишка.

— Всякие есть большевики! — опять вздохнул Трофим.

На станции горел один фонарь.

Было поздно.

В голове у Мишки грудились невеселые мысли.

В вагонах,
под вагонами,
за вагонами
люди будто нарочно притаились, не ворочались, не кричали, крепко стиснули зубы, зажали голодные рты.

В темной пугающей тишине, прорезанной одиноким фонарем, заунывно и горестно плакала баба с ребенком в два голоса. Один голос глухой, из наболевшего нутра, другой — отчаянными выкриками. То хлестнет, взовьется, то пиликает чуть слышно дребезжащей струной.

И сплетаются,
рвутся,
хрипят,
обгоняют друг друга два голоса,
как два ручья.

И течет по двум ручьям горе-горькое, брошенное в широкую киргизскую степь, на маленькую станцию. Ни вперед, ни назад не продвинешь его.

Трофим сказал Мишке, показывая на бабу:

— Заехала из чужой стороны, выехать не может.

— Разве ты знаешь ее?

— Я всех знаю, четыре дня хожу по этой станции. С мужем ехала она, а муж у нее умер. Вон там и зарыли его...

В голову Мишке лезли невеселые мысли.

Сидели они с Трофимом рядом в тесном вокзальном проходе, около самых дверей, рассказывали про свои деревни, которые теперь неизвестно в какой стороне остались. Мишка рассказывал вяло, слушал неохотно. Надоело думать ему об этом, надоело и повторять каждый день. Перед глазами зажмуренными —

лентой развернутой —

проходил Ташкент, город невиданный:

сытый,

хлебный,

улыбающийся.

Глядят оттуда буграми высокими:

черные куски,

белые куски,

пшеница багарная,

пшеница поливная.

А зерно не как у нас — крупное...

Перебивая Мишкины мысли, Трофим громко шептал незасыпающим голосом:

— Ты сколько фунтов съешь?

— Где?

— В Ташкент когда приедем.

Подумал Мишка, поднимая отяжелевшие веки, тихо сказал:

— Много!

Долго плакала баба с ребенком.

Кашляли мужики в темноте.

Лаяли собаки за станцией.

Трофим с Мишкой подбадривали друг друга хорошими надеждами. Ехать уговорились вместе. Прислушиваясь к собачьему лаю, видел Мишка огромную степь без людей и жилья, а по этой степи тысячами бегут голодные собаки с оскаленными ртами, гонят большую лохматую собаку с горбушкой в зубах, вьются огромным клубком. Летит собачья шерсть под застывшим месяцем степью пустынной.

Горят собачьи глаза, щелкают зубы... Перегрызли собаки друг друга, откуда-то новые явились, ринулись на станцию диким стадом, махнули через Мишкину голову, подмяли под себя. Приподняли, бросили, ухватились за пиджак с картузом. Вырвался Мишка, в ужасе смертельном открыл глаза заснувшие, не поймет ничего. Крик, шум, ругань, визг, а Трофима рядом нет.

— Паровоз подают!

Стон. Крик. Плач.

— Пустите!

— Посадите!

— Задавили!

— Батюшки!

— Сунь по зубам!

Нельзя оставаться на маленькой станции в безлюдной киргизской степи:

голод съест,

вошь съест,

тоска съест,

отчаянье...

За крыши хватаются, за колеса, за буфера, за подножки.

На крышах, на колесах, на буферах, на подножках — только бы уехать из страшного, пустого места. На руках висеть, волочиться по шпалам, уцепившись за вагонный хвост,— только бы уйти, убежать от голодной настигающей смерти.

Летит степью под застывшим месяцем собачья шерсть.

Горят глаза собачьи.

Щелкают зубы.

— В бога — мать — пусти!

— В крест — царя!

— Товарищи!..

Завертелся Мишка, закружился.

Не пробить ему огромную людскую стену около вагонов.

Колыхнет живая стена, двинет локтями, попятится задом, отбросит в сторону, потащит на другой конец. Нет силы перескочить живую лязгающую стену, нет силы и оторваться от нее. Тянет, всасывает она, крутит в котле, душит, мнет.

Бросился Мишка к маленькому застывшему паровозу, навстречу Трофим под рогожкой несется, маленьким смешным попом в коротенькой ризе.

— Попал?

— Куда?

— Айда со мной!

До смерти обрадовался Мишка: двое — не один.

Ухватил Трофима за рогожку — поскакали мимо мужиков с бабами, мимо вагонов. Прибежали в самый хвост — солдат стоит. Поглядели на солдата издали, вперед ударились.

— Стой! — сказал Трофим.— Надо на крышу лезть. Ляжем на брюхо — нас не увидят...

Встал Мишка на плечи Трофиму — до крыши высоко.

Потянулся маленько, чтобы за крючок ухватиться,— сорвался, грохнулся, ударил Трофима ногами по голове.

Рассердился Трофим, крикнул:

— Баба! Становись под меня.

Больно ушибся Мишка, но плакать некогда.

Встал под Трофима — и Трофим сорвался, ударил Мишку ногами по голове.

— Айда в другое место — не залезешь тут.

— Руку я зацарапал.

— Кровь?

— Течет маленько.

— Посыпь песком!..

Когда свистнул паровоз, покрывая людские голоса, Мишка с Трофимом лежали на крыше вагонной, вниз брюхом. Трофим облегченно шептал, нюхая пыльную крышу:

— Живой маленько? Сейчас поедем...

25

Шибко рвал киргизский ветер Мишку с Трофимом, все хотел сбросить в безлюдную степь. И когда глядели они на согнутых баб с мужиками, залепивших вагонные крыши, думалось им: плывут они по воздуху, над землей, над степью, и никто никогда не достанет их, никто не потревожит. Только один раз больно сжалось Мишкино сердце — мужик напротив крикнул:

— Умерла!

Головой около Мишкиных ног лежала косматая баба кверху лицом и мертвыми незакрытыми глазами смотрела в чужое далекое небо. Тонкий посиневший нос, неподвижно разинутый рот с желтыми оскаленными зубами тревогой охватившей перепутали Мишкины мысли, больно ударило затокавшее сердце.



Трофим поглядел равнодушно.

Так же равнодушно и мужики повесили бороды, думая о своем. Один из них сказал:

— Бросить надо, чтобы греха не вышло!

— Куда?

— С крыши.

Мишка напружинился.

Закрыв глаза, думал он о Лопатине, об оставленной дома матери, перебегал мыслями в Ташкент, но мертвая баба с оскаленными зубами закрывала и мать, и Лопатино, и далекий измучивший Ташкент, до которого никогда не доедешь. Тревожно оглядывая мертвую, шепнул Мишка украдкой Трофиму:

— Кто она?

— Голодная.

— Кинут ее?

— Нельзя днем кидать — увидят...

Навернулась огромная туча, залепила солнце, черным пологом упала над поездом. Лезет поезд с народом в эту тучу, режет ее свистками, кричит, орет, никак не может уйти. Или туча придавила, или косогор на пути: колеса перестали плясать, вагоны перестали раскачиваться. Медленно вытягивая хвост, поезд пошел тихим ходом, готовый остановиться совсем.

Разом плеснул тяжелый, крупный дождь из огромного ковша, застучал по грязной обтертой крыше. Мужики сомкнулись кучей. Неподвижно сидели и Мишка с Трофимом под Трофимовой рогожей. Только мертвая баба попрежнему лежала вверх лицом, с мертвыми незакрытыми глазами, налитыми дождевой водой. А когда огромная туча разорвалась на мелкие клочья и клочья поползли над степью, роняя последние капли,— подступил сырой, холодный вечер.

Крошечным пятном обозначилась впереди маленькая станция.

Ближней долиной прошли верблюды.

Над бугром закурился дымок.

Трофим сказал Мишке, вздрагивая голым телом:

— Озяб?

— А ты?

— Я маленько озяб. Есть хочется! — опять сказал Трофим.

— Мне тоже хочется,— сознался Мишка.

— Терпеть умеешь?

— А ты?

— Я по два дня терпел.

Не хотелось Мишке разниться от товарища — уверенно мотнул головой:

— Потерпим!..

На станции мужики торопливо попрыгали. Остались на крыше вагонной только Мишка с Трофимом да мертвая баба с желтыми оскаленными зубами. Полный месяц, высоко поднявшийся над станцией, мягким светом обнял мертвое тело, заглянул в разинутый рот. Мишке сделалось страшно, но Трофим спокойно сказал:

— Мы не будем прыгать. Прыгнешь если, на другую крышу не скоро сядешь. Останешься на этом месте, хуже будет. Ты боишься мертвых?

— А ты?

— Чего их бояться, они не подымутся...

Поезд стоял недолго.

В темноте взмахнули фонарем около паровоза, разом стукнули буфера и

в ночь,

в холодную сырость

грузно двинулись вагоны, лениво играя колесами.

Проскочила последняя будка.

Глазом тусклым глянул последний фонарь.

Над вагонами повис негреющий месяц желтой лысой головой.

— Холодно! — сказал Трофим.— Давай обоймемся.

Мишка расстегнул мокрый пиджак, и Трофим под рогожкой крепко обнял его вздрагивающими руками, прижимая живот с животом, грудь с грудью.

Так же крепко обнял и Мишка товарища, стягивая полы пиджака на Трофимовой спине; и, холодной, мглистой ночью, дыша друг другу в лицо, спасая друг друга от смерти, ехали они на вагонной крыше маленьким двухголовым комочком, слитые в одну непреклонную волю, в одно стремление — сберечь себя во что бы то ни стало.

— Мне теплее! — говорил Трофим.

— Мне тоже теплее,— соглашался Мишка.

— Подыши маленько в эту щеку!

— А ты мне подышишь?..

— Угу...

Был короткий миг, когда в сердце у обоих родилась неиспытанная радость от согревшей дружбы. Не высказывалась она словами, ехали молча, но оба чувствовали ее в том, как хорошо, не страшно двоим.

И мертвая баба, теперь не пугающая, будто говорила им: «Так, ребята, так!»

26

Утром продавали Мишкин пиджак на большой киргизской станции.

Трофим сказал последний раз тоном опытного человека:

— Четыре тысячи проси.

— Дадут?

— Не дадут — убавить можно. Первым покупать буду я. Ты хвали хорошенько свой товар и меня нарочно ругай, если я стану дешево давать. Понял? Заходи в народ.

Вошел Мишка в пеструю базарную гущу, держа на руке отцовский пиджак, сбоку к нему придвинулся Трофим:

— Громче кричи!

Мишка взмахнул пиджаком:

— Эй, купи, продаю!

Дал Трофим ему отойти немного, опять придвинулся, громко спросил:

— Стой! Сколько просишь?

— Ты не купишь! — обернулся Мишка.

— А ты откуда знаешь?

— Денег у тебя нет.

— А ты мои деньги считал?

— Чай, так видать...

Трофим рассердился:

— Эй, шантрапистый осколок! Говори окончательно — сколько?

— Четыре тысячи.

— Уступка будет?

— Набалвашь тебя, чай, он не больно старый...

Стояли Мишка с Трофимом в пестрой базарной гуще друг против друга, громко спорили, чтобы обратить внимание на пиджак, но никто, ни один человек не хотел остановиться около них. Поглядят издали — отвернутся.

Трофим сказал, повертывая головой:

— Хитрые, черти, не обманешь!

Уже падало веселое настроение, пиджак казался плохим, ненадежным, и в минуту отчаяния думалось: никогда не продашь его ни за тыщу, ни за полтыщу. В это время подошел молодой парень чуть-чуть повыше Трофима, уставился на ребят черными блестящими глазами.

Мишка взмахнул пиджаком:

— Купи!

Подвернулся киргиз с узенькой бородкой, выпятил губы, разглядывая пиджак снутри и снаружи, по-русски спросил:

— Сколько?

— Дешево отдаю, за четыре тыщи.

— Тыща!

Трофим из-за спины у киргиза крикнул:

— А кто здесь хозяин этому пиджаку?

— Я! — повернулся Мишка.

— Сколько просишь за него?

— Четыре тыщи.

— Продать хочешь или болтаться пришел? — строго спросил Трофим.

— А тебе чего надо тут? — так же строго ответил Мишка.

— Если хочешь продать, бери три тысячи с меня — и больше никаких. Хочешь?

Посмотрел киргиз на нового покупателя, сплюнул, разгорячился, начал подкладку пальцем ковырять. Мишка по-купечески говорил:

— Не ковыряй, товарищ, матерья хорошая, два года будешь носить.

Подступили еще киргизы, загалдели, зацыкали:

— Две тыща!

— Нельзя, товарищ, дешевле не отдам.

— Три тыща. Ну!

Трофим осторожно шепнул:

— Убавь одну!

Хлопнул Мишка киргиза по руке, как большой, настоящий мужик, громко сказал:

— Прощай, пиджачок! Матерья больно хорошая.

С хлебом стало не страшно.

Нес его Мишка около сердца, крепко прижимая. Глаза блестели радостью, губы от нетерпения подергивались. Хотелось тут же, возле торговок, прямо на базаре, вцепиться голодным ртом в большой каравай, глотать непрожеванными кусками, но есть на базаре было неудобно: рядом кружились голодные беженцы, смотрели на хлеб голодными, провалившимися глазами, могли отнять, и Мишка с Трофимом, самые богатые люди теперь, ушли обедать за станцию, в степь.

Хорошо светило солнце с высокого неба.

Вокруг белели киргизские юрты.

Беззлобно лаяли собаки.

А главное — хлеб.

Мягкий, еще теплый каравай лежал на коленях у Мишки, и от этого степь широкая, и небо над степью, и дымок, и белые киргизские юрты тоже казались мягкими, теплыми, успокаивающими.

— Ну, давай! — решительно сказал Мишка, запуская острый ножик в хлебный мякиш.— Держи за мое здоровье!

Сам он радостно перекрестился, принимаясь за еду, удивленный, взглянул на товарища:

— Ты что не молишься?

— Бросил.

— Зачем?

— Так, не хочется... Дай мне еще кусочек! Много, убавь. Сразу не будем есть, оставим вперед.

Ели долго и все по маленькому кусочку. В животах у

обоих становилось тяжело после голодухи, тело наливалось покоем, сладкой, сытой ленью. Хотелось уснуть под солнышком, забыться, ни о чем не думать. Мишка протягивал ноги в широких лаптях, подолгу лежал с раскинутыми руками. Потом опять садился, сонно глядя на убывающий каравай, резал от него по маленькому кусочку.

Трофим успокаивал:

— Пиджак не жалей! Только бы живым остаться — лучше будет...

На станции, после обеда, долго пили холодную воду у водокачки; широко подставляя под кран сытые, отдохнувшие рты, начали умываться.

— Надо прифорснуться маленько! — говорил Трофим, разглядывая грязное брюхо.— Давай руки песком тереть!

— Голова больно чешется,— поежился Мишка.— И вот тут все время ползает.

— Вошки?

— Угу!

— Ты не дразни их, они хуже будут кусаться...

Поиграли, побрызгались холодной водой, стало совсем легко. Наигравшись, Мишка лукаво прищурился:

— Ну, теперь ты сам хлопочи!

— О чем?

— Как на поезд нам попасть.

— А ты чего будешь делать?

— Я тебя хлебом кормил...

27

Станция не сажала.

По вагонам, по вагонным крышам ходили солдаты с ружьями, сбрасывали мешки, гнали мужиков с бабами, требовали документы. Мужики бегали за солдатами, покорно трясли головами без шапок. Охваченные тупым отчаянием, снова лезли на буфера, с буферов на крыши, опять сбрасывались вниз и опять по-бычьи, с молчаливым упрямством заходили с хвоста, с головы поездных вагонов.

Мишку с Трофимом сгоняли четыре раза.

Четыре раза солдаты замахивались прикладами, грозно кричали:

— Марш отсюда!

В тупике, около разоренного вагона, сидели трое мужиков, две бабы, девчонка, старик и угрюмый солдат с деревянной ногой. Глядя на составленный поезд, думали мужи-



ки, что удастся, может быть, и им как-нибудь вскочить, уцепиться, выехать из страшного места, но когда подали паровоз и вагоны с голыми, опорожненными крышами медленно пошли мимо депо в голубую степь, один из мужиков в отчаянии сказал:

— Смерть теперь нам! Вперед не двинешься и назад не вернешься. Куда идти?

— Пойдем на разъезд,— ответил другой.— Там сядем.

— А посадят нас?

— А на черта мы будем спрашивать!

— Не дойдем! — сказал солдат.— Силы не хватит... Неожиданно поднялся третий мужик:

— Все равно, сидеть нельзя!

— Идти хочешь?

— Пойду один.

Старик, прилепившийся к мужикам, точно курица лапами, разгребал песок дрожащими пальцами, осторожно нащупывал камешки, клал на ладонь их, долго обнюхивал



грязным нечувствующим носом. Петра, высокий, сгорбленный мужик, поглядел на старика с удивлением, будто сейчас только заметил:

— Ты, дедушка, чей?

— Я, милок, и сам не знаю, чей,— губерню свою потерял...

— Едешь куда?

— Куда мне ехать? Сижу вот на этом месте пятый денек, а тронуться не могу. С сыном ехали, ну, он помер у меня, хочу с вами пристроиться.

— Мы пешком пойдем, здесь не сажают.

— Ну, так что же! Я ходьбы не боюсь, ребятушки, только бы здоровье в ногах держалось маленько. Я, бывало, по семьдесят верст отбачивал без передышки.

Бабы с девчонкой тревожно глянули в широкую пугающую степь. Идти им страшно было, и от своих отрываться страшно. Стояли они покорные, вялые, перехлестнутые лямками от холщовых сумок. Сидор, босой мужик, мягко почвокал губами:

— Пойдем или нет?
— Пойдем! — откликнулся Ермолай.— А ты, дедушка, как?
— Пойду и я потихоньку. Куда же деваться?
— Дойдешь?
— Можа, дойду, бог даст...
Сгрудились маленьким покинутым стадом.
Трофим решительно поглядел на Мишку...
— Они идти хотят. Ты не боишься?
— А ты?
— Я пойду.
— Я тоже пойду...
— Дойдешь сорок верст?
Мишка поправил живот.
— Теперь я больше уйду...
Высокий, сгорбленный Петра в распоротой шапке шагнул передом, на минуточку остановился. Поглядел в раздумье на станционную колокольню с желтым загоревшимся крестом и, размахивая поднятой палкой, повел остальных вдоль светлых, играющих рельсов в голубую зовущую степь с синими верхушками гор — под тонкое пение телеграфных проволок, под дряблый, нерадующий звон вечерних колоколов.
Мишка с Трофимом шли ягнятами позади.
Они не спрашивали, возьмут ли их мужики, даже с собой хорошенько не уговорились... Нужно было идти ближе к Ташкенту, в сытый, хлебный край, скрывающийся за далекими курганами, а станция не посадила, сбросила с вагонной крыши, и пошли они без раздумья, мелкими, веселыми шагами, не чувствуя страха. Все казалось им, что мужики обернутся и скажут:
— Куда?
И тогда они ответят мужикам:
— В Ташкент!
Мужики обертывались, но никто не спрашивал, куда идут ребятишки, никому не было дела до них. Солдат, переваливаясь на один бок, широко загребая деревянной ногой, громко рассказывал:
— Вода, понимаешь, в Ташкенте больно холодная, и видно все в ней, будто в зеркале... Ягода разная, как бы не соврать, растет целыми десятинами. Идешь, к примеру, день — и все сады, сады, сады... Избы у каждого без крыши, и канавки нарыты для пропуска воды.
— А хлеб почем?

— Хлеб дешевый. Если поработать сартам недели две, пудов двадцать можно загнать на готовых харчах...

Старик, девчонка, бабы, три мужика и Мишка с Трофимом, ободренные веселым голосом хромого солдата, доверчиво смотрели на синие верхушки гор и шли вперед неровным растянутым треугольником за дешевым, волнующим хлебом.

28

Широко легла далекая, утонувшая в мареве степь с редкими курганами. Одиноко кружат степные орлы над мертвыми, побуревшими солончаками, опять садятся на древние могилы степных князей и сидят, как верные часовые, с черными неподвижными головами. Крупные нетронутые репейники цепью растянутой уходят в овражки, выбегают на бугры, тревожат мертвым своим одиночеством, вековым ненарушенным покоем. Поднялось, опять опустилось солнце, короче стали полуденные тени.

Солдат с деревянной ногой уже не рассказывал о холодной прозрачной воде, а красными, воспаленными глазами злобно оглядывал мертвые степные просторы, безнадежно говорил:

— Не дойдем мы до станции — силы не хватит!..

Бабы, девчонка криво разевали сухие, изморенные рты, брали друг друга за руки, молча плакали от гнетущего страха. Только Сидор, босой мужик, и Ермолай с жесткими нечесаными волосами шли упорно, выгнув черные, обветренные шеи, широко двигали избитыми ногами. Петра, шагавший впереди, высоко поднимал дорожную палку, вглядывался из-под ладони вдоль светлых убегающих рельсов, успокаивающе говорил:

— Вот там чернеет чего-то.

А когда доходили до черного пятнышка, радующего глаз, опять тоска сжимала сердце: это было брошенное киргизами становище, куски размытой глины — тяжелый, грустный труд беглецов. Опять Петра вглядывался из-под ладони, опять отыскивал пропавшую станцию.

Станция не показывалась. Только проволока телеграфная гудела, да изредка попадались опрокинутые вагоны, брошенные под откос, и сломанные колеса от пушечных передков — последний след минувшей гражданской войны, прошедшей степью от Туркестана до Самары.

Мишке с Трофимом было легче других.

Они уже поели, напились, отдохнули и в карманах несли по большому куску оставшегося хлеба.

Иногда украдкой Мишка бросал в рот маленькую крошку, шепотом говорил Трофиму:

— Нам с тобой гожа, а?

— Дойдем! — успокаивал Трофим.— Только бояться не надо.

Старик шел левым боком вперед, с трудом волоча одеревеневшие ноги. Сделал он на бугорке последний выдох из пыльных ноздрей, слабо улыбнулся добрыми, лучистыми глазами, покрестился на степное плывущее марево.

— Стойте, ребятушки, туго мне!..

Поплыла, закачалась степь в изумленных глазах, поплыли, закачались репейники, завертелись столбы телеграфные, звонче запела в ушах телеграфная проволока.

— Стойте, ребятушки, я не дойду!

Растопырился старик, молча сел на сухую, горячую землю. Солдат присел около старика, крепко стиснул руками деревянную ногу.

— Постойте, братцы, я тоже не дойду!

Сели и Сидор с Ермолаем. Петра неожиданно бросил палку:

— Ой, дорога наша, дороженька, далекий путь!..

Он нашарил в кармане остаток табаку, закурил, нарочно начал глотать едкий, режущий дым, чтобы успокоить пустые, голодные кишки. После трех затяжек у него закружилась голова, и он, раскинув руки, опрокинулся на спину. Сидор с Ермолаем сидели, уткнувшись подбородками в поднятые колени, бабы с девчонкой лежали врастяжку. Старик свернулся комочком, положив кулак под голову, а солдат, разглядывая деревянную ногу, глухо сказал равнодушным, мертвым голосом:

— Пропадем!

Мишка со страхом смотрел на мужиков, упавших в дороге, вглядывался в степь без жилья и людей — сердце у него замирало. Хорошо, если станция близко, а если до нее еще сорок верст? Оторвал он маленькую крошку в кармане, бросил в рот, чтобы хлебом успокоить налетевшую тревогу. Солдат посмотрел на Мишкин карман голодными глазами.

— Хлеб у тебя?

Мишка взглянул на Трофима.

Трофим лениво сказал, не теряя спокойствия:

— Какой там хлеб — глину жует!

Зашевелился старик, подняли головы Сидор с Ермолаем, а бабы с девчонкой взглянули тоскующими глазами, и голодная поднятая кучка несколько секунд сидела встревоженным полукругом, выставив уши. Или ветерок принес обрадовавшее слово, или земля шепнула его измученному телу.

— Где хлеб? — спросил Петра.

Солдат показал на Мишку:

— Вот у этого человека.

Мишка испуганно поднялся, готовый на смертную битву за последнюю радость, загорелся глазами, будто хорек, вытащенный из норы. Неожиданно поднялся Трофим, взял товарища за руку:

— Айда, дорогу мы знаем!..

Мишка с Трофимом попятились в сторону, потом остановились, не спуская с мужиков встревоженных глаз. Мужики тоже смотрели на них в глубоком раздумье, точно готовились к нападению. Позади показался дымок.

На закатном солнце обозначился остов вытянутого поезда, коротко блеснули рычаги паровоза.

— Идет! — крикнул Петра.— Сюда идет!

В новой тревоге от дальнего поезда мужики приготовились встретить его на небольшом косогоре. Решили уцепиться за подножки, повиснуть на задних буферах — только бы не остаться на ночь в страшной степной тишине.

Солдат в тоске своей пощупал деревянную ногу:

— Я не прыгну, товарищи!

Баба обрадовалась, что солдат не прыгнет, робко сказала:

— Не прыгайте, мужики, убиться можно.

Ей не ответили.

А она, пораженная мыслью остаться в степи, в отчаянии просила бога, чтобы солдат не прыгнул и мужики остались бы вот такой артелькой.

Поезд подходил все ближе из-за крутого поворота. Проворно работал паровоз стальными локтями, фукала паровозная труба черным разинутым ртом, нежно таял белый паровой дымок.

Петра наклонился к старику:

— Дедушка, машина идет! Ты встанешь?

— Чай, встану как-нибудь.

Сидор громко сказал остальным:

— Прыгайте на разное место! Кучей не стойте!

Трофим наказывал Мишке:

— Когда будешь хвататься, становись головой к паровозу, чтобы воздухом не сшибло.

— А ты вместе сядешь?

— Где придется, я половчее тебя.

Поезд шел почтовый и чуть-чуть замедлил размашистый ход на косогоре. Фыркнул паровоз — крутолобый чугунный мерин,— глянул на собравшихся светлыми стеклами передних фонарей. Зашипел горячий пар, пущенный машинистом, откинул в сторону баб с девчонкой, уронил старика под откос. Мишка, как во сне, услыхал голос Трофима:

— Прыгай!

И опять, как во сне, увидел бегущую навстречу подножку у зеленого вагона, протянул вперед руки, громко без памяти закричал:

— Дяденька!

Впереди мелькнула Трофимова голова, заболтались в воздухе Трофимовы ноги. Когда Мишка почувствовал, что Трофим попал на поезд, скрытая мужицкая сила, глубоко запрятанная в маленьком теле, распрямилась огромной пружиной, подбросила его вперед. Проскочила еще одна и еще одна подножка. Из окошек вагонных высунулись люди и все глядели на бегущего вдоль поезда мальчишку в широких лаптях, что-то кричали ему, а он, тяжело раздувая горячими ноздрями, хотел было ухватиться за последнюю подножку, но сила невидимая оторвала его от земли, опрокинула, смяла, бросила в черную глубокую яму...

29

Медленно тянулись друг за другом не попавшие на поезд: Ермолай, Петра, солдат с деревянной ногой, бабы, девчонка. Отстают, перекликаются, разорванные темной пугающей ночью, упорно шагают вперед. Нащупывают травку, растирают на зубах. Отдохнувши, опять ползут настойчиво, непреклонно. Опять солдат рассказывает о холодной прозрачной воде и зеленых садах, а старик, убаюканный пройденными верстами, покорно лежит в высокой сухой траве под откосом. В последний раз окидывает мыслями потухающие родные поля, чувствует запах родной земли и в порыве последней любви целует степную киргизскую землю, как свою, любимую — старческими умирающими губами.

— Уроди, кормилица, на старых, на малых, на радость крестьянскую!..

Подошло, опахнуло мужицкое и страшное горе, расцвело невиданной радостью: со всех сторон, со всех дорог идут — ползут трудящиеся из больших и малых сел, из больших и малых деревень. Каждый несет по зернышку, кладет свое зернышко в родную голодную землю. Цветет голодная земля колосьями хлебными, радуется измученная радостью измученных. Широко расходятся молодые весенние всходы, наряжается земля в зеленое платье. Улыбается старик зеленому полю — замирает улыбка на вытянутых посиневших губах.

— Кормилица, уроди!

Проходят поезда, проходят пешеходы, сброшенные с поездов, никто не видит радость человеческую на мертвых губах старика, упавшего в дальнем пути.

«Слава тебе, безымянная!»

30

Увидел Мишка небо черное, украшенное крупными звездами, степь черную, без единого звука, понял не сразу. Посидел, будто после крепкого сна, почесал ушибленную голову, и вдруг охвативший ужас сковал ему разум и сердце: ушли, бросили его, никому он больше не нужен, и никто не выведет его из страшного места.

Волосы у Мишки поднялись вместе с кожей, мысли помутились, глаза застыли. Прямо на него двигалась огромная тень. Тряхнул он головой, тень раскололась на две половинки, и у каждой половинки выросли руки, ноги и большие киргизские головы в страшных качающихся шапках. Шли киргизы в страшных шапках, подпрыгивали, вытягивались, шуршали травой, скалили зубы, махая руками.

Дикий крик одиноко прорезал черную ночную тишину:

— Мамынька!

Бежал Мишка недолго.

Сзади его хватали киргизские руки, в уши кричали страшные киргизские голоса: «Смерть!»

Перед глазами обезумевшими вырос огромный репей огромным великаном — бежать больше некуда. Упал Мишка на колени перед великаном и лежал в покорном молчании до самого утра.

Это была не смерть.

Смерть ходила по вагонам, по вагонным крышам, по

грязным канавкам, где валялись голодные. Смерть настигала солдата с девчонкой, ушедших вперед, разыскала их на маленькой станции, куда они торопились, а у Мишки в кармане лежал кусок припрятанного хлеба и тысяча рублей, оставшаяся от проданного пиджака.

Когда обогрело утреннее солнце, страх ночной прошел, остались только стариковская слабость да сильная головная боль. Глаза смотрели безжизненно, ни о чем не думалось. Вспомнилась мать, но мысль о ней тут же потухла. Все проходило в тяжелом неразгаданном сне. Тупо, равнодушно вытащил Мишка из кармана хлеб, тупо, равнодушно съел его. Хотел было лечь, тихонько поплакать на чужой, нелюдимой земле, а тело опять налилось крепостью, брови нахмурились, вспыхнула упрямая воля: «Пойду!»

Четко обозначались дальние горы, телеграфные столбы и две дорожки светлых, играющих рельсов. Посмотрел Мишка в обе стороны, сердце забило тревогу: «Куда идти? Где Ташкент?»

Если в ту сторону — можа, не там...

И если в эту сторону — можа, не там...

Горят, играют рельсы на утреннем солнце, идет по ним тяжелый страх от широкого безграничного простора, от далеких синих гор.

А плакать нельзя.

Кто увидит Мишкины слезы, если нет кругом ни одного человека?

Кто поможет Мишке, если стоять на одном месте целый день?

Прошел он шагов двадцать в одну сторону — остановился: «Заплутаешься!»

Прошел шагов двадцать в другую сторону — опять остановился: «Не выберешься».

Мать, наверное, думает: едет сынок или умер давно? Может быть, и сама умерла, и Яшки с Федькой нет давно. Стоял Мишка в глубоком раздумье, плотно сжав побледневшие губы, сразу припомнилась вся жизнь и первый день, когда из дому вышел. Неужто погибать придется? Глянул на светлые рельсы, в изумлении замер, вчера поезд шел на этот косогор, значит, и идти нужно на этот косогор, в эту сторону.

Стянул Мишка покрепче солдатский ремень, нахлобучил старый отцовский картуз, пощупал ножик в кармане, смелее двинулся на синие дальние горы.

Широки степные просторы.

Страшно в них человеку, плывущему маленькой точкой, тоскливо и орлам степным сидеть на древних могилах князей... Нет в степях человека, нет и голоса человеческого. Репьи, кустарники, голые солончаки, изрезанные глубокими трещинами, да редкий верблюжий помет. Попадется бумажка, выброшенная из вагонного окошка,— забелеет сиротливо покинутой гостьей, прижавшись у корней сухой травы; глянет радостью волнующей брошенный мужицкий лапоть, занесенный из далекой неведомой деревни, из далекого неведомого села. Вздохнет Мишка, вспомнит Сережку с Трофимом, Яшку с Федькой, мать, лопатинских мужиков, лопатинскую речку и опять упорно двигает ногами, крепче стискивает в тревоге побледневшие губы. Если нападут сейчас киргизы на него, скажет он им: «Зачем вам убивать меня? Возьмите мой ножик, ремень с картузом, штаны, рубашку и тысячу рублей, только не убивайте».

Течет по степным просторам воздух, пронизанный солнцем. То морем, то речкой огромной течет, то маленьким ручейком. Ухватит зоркий, настороженный глаз далекие призраки, похожие на дерево или на человека, на плывущую деревню с соломенными крышами, как в Лопатине, а через минуту ни дерева, ни человека нет, ни обманувшей растаявшей деревни.

Напрягает Мишка последние силы, пересчитывает столбы телеграфные, упрямо, настойчиво думает: «Не бойся, чай, ты не больно богатый какой!»

Уже двести столбов отсчитал, перевалил на третью сотню. Упрямая воля к жизни, ведущая по шпалам маленьким встревоженным червяком, укрепляла Мишкины ноги, и он даже подпрыгивал, пробовал легонько бежать. Когда вспоминал про Трофима, попавшего на поезд, горькое чувство обиды подхлестывало еще сильнее. Теперь он один, бросили его, не пожалели, и надеяться ему надо только на себя. Пускай думают, что он умер, пускай едут в вагонах, если такие люди находятся, которые товарищей бросают, а он все равно идет, и никто его не тронет, потому что он бедный, и это, наверное, сразу все видят. Прошел он двести столбов и еще двести пройдет; до тех пор будет идти, пока не умрет. А умрет, куда же деваться? Значит, такая судьба у нашего брата: терпеть надо...

С косогора из широкой долины глянула маленькая станция. Со станции навстречу двинулся поезд, черным столбом вылетел паровозный дым. Мишка от радости крикнул:

— Вот она где!

А когда поравнялся с поездом, помахал мужикам старым отцовским картузом, стоя под откосом, проводил заблестевшими глазами последнюю площадку, нагруженную хлебом, вспомнил про мешки, которые у него украли, и опять маленьким шариком покатился вдоль светлых, играющих рельсов.

«Теперь я не боюсь!»

Навстречу шли три лохматые собаки. Людей кругом не было. Остановился Мишка, и собаки остановились, одна легла между рельсами, Мишка оробел и от страха, что собаки могут разорвать его, начал молиться богу, припоминая молитвы, но все молитвы перепутались, а собаки не уходили. Тогда Мишка с замиранием сердца пошел в обход, согнулся, стараясь сделаться еще меньше ростом, чтобы собаки не заметили его, а одна собака тоже пошла в ту сторону. Остановился Мишка, и собака остановилась. Вспомнил он про медведя и двоих ребятишек в лесу: если притвориться мертвым, медведь не тронет. Может быть, и собаки не тронут, если умереть нарочно? Присел Мишка на голые солончаки, осторожно вытянул ноги, чуть-чуть приподнял голову и зорко настороженными глазами стал наблюдать за собаками. От Мишкиного страха собаки выросли, стали огромными, с длинной черной шерстью, с длинными оскаленными зубами, и вдруг растаяли. Потом поднялись на воздух тремя черными тучами, пробежали над Мишкиной головой и залаяли далеко-далеко. Наклонилась ближе к земле Мишкина голова, легла будто в мягкую подушку, глаза закрылись. Спал он крепко, долго, видел во сне трех собак, но это были совсем не киргизские собаки, а свои, лопатинские, и сам Мишка лежал не на голых солончаках в далекой степи, а дома, в Лопатине, на берегу лопатинской речки. Собаки лизали ему руки, ложились на спину, вертели хвостами. Одна из них спросила человеческим голосом:

«Ты уже вернулся из Ташкента?»

Поглядел он хорошенько на собаку, а это лошадь около него. Встала она на колени пред ним и тоже говорит человеческим голосом:

«Садись — довезу!»

Сел Мишка верхом, поехал. Лошадь вдруг взвилась на дыбы, вскинула задние ноги, сбросила Мишку под себя, ударила копытом прямо в лоб.

Кто-то сказал, трогая Мишкины ноги:

«Вставай, мальчишка! Или умер?»

Не было кругом ни собак, ни людей, только слабо глянул в лицо станционный огонек. Очнулся Мишка, нащупал ножик в кармане, тысячу рублей, вскочил, встряхнулся, побежал. Станция была маленькая, безлюдная; между рельсов валялись арбузные корки, втоптанные в пыль, выброшенные мосолки. Кто-то ехал тут, кто-то дальше проехал, остались только развороченные жарнички из натасканных кирпичей, мусор, навоз и темная безголосая тишина. Мимо прошли два киргиза, поглядели на Мишку. Поглядел и Мишка на них, поднял два мосолка. Третий киргиз пошел прямо на Мишку, растопыривая руки. Попятился Мишка к станционным дверям, и киргиз пошел за ним. Ноги у Мишки задрожали, в голове помутилось. Стиснул он в кармане ножик, тысячу рублей — последнюю радость свою, нырнул в станционную дверь. Увидел вторую дверь в задней стене, толкнул тихонько, выскочил на заднее крылечко, шагнул вдоль палисадника... Сердце билось, ноги путались, а там, на станции, кто-то кричал громким голосом, и нельзя было разобрать ни одного слова. Никогда раньше не боялся Мишка, теперь вдруг оробел и голову повесил, не зная, что делать. Помилуй бог, если убьют его или рубашку последнюю снимут. Заступиться некому, и закричит — никто не услышит.

Отдышался немного, пополз. Прошел станционные постройки, вышел за станцию, остановился около маленькой будки.

Будка была без жильцов и окон, с ободранной жестью на крыше, с развороченной печкой, с выдранными половицами. Из окошка разбитого вылетела ночная птица — ноги у Мишки подкосились. Когда успокоился немного, робко вошел в нежилую, пугающую будку.

Ночь проходила медленно.

Разыгрался ветер, рвал остатки жести на крыше, шумел, колотил в стены, подвывал собачьими голосами. Потом ударил гром. Вспыхнула будка, словно загорелась вся. Метнулась по углам ломаная молния острыми растопыренными ножницами, и опять в выбитые стекла полезла черная ревущая ночь.

Полил дождь.

Мишка сидел в уголке, всовывая руки в рукава рубашки, вздрагивая, ежился, и вся его прежняя жизнь, простая, нестрашная, казалась теперь оторванной, потерянной навсегда. Где он сидит сейчас? Ближе к Лопатину или ближе к Ташкенту? И понять не мог, куда попадет скорее. Может

быть, никуда не попадет, потеряет дорогу, обессилеет, останется вот в этой степи.

Резкий паровозный свисток оборвал встревоженные мысли, поднял Мишку на ноги, вытолкнул из будки в мокрую шуршащую траву, под дождь и ветер, под удары грома и, слепнущего от вспыхивающей молнии, повел на маленькую станцию; там, прорезывая темноту, горели два паровозных фонаря.

Падая, разъезжаясь лаптями по осклизлой земле, спотыкаясь о шпалы, не думая о дожде и ветре, толкающем из стороны в сторону, бежал Мишка к поезду, идущему в Ташкент. А поезд этот обязательно на Ташкент, потому что фонари глядят в эту сторону. И если Мишка не уедет сейчас, то пропадет в этих местах, и уйти ему от своей смерти будет некуда...

Около паровоза копошились люди, стучали молотками.

Повертелся Мишка за спиной у них, побежал вдоль вагонов, царапая руками запертые двери. Еще больше испугался, что его не посадят, и опять очутился около паровоза.

Кто-то крикнул из темноты:

— Не стой под ногами.

Отошел шага два, снял картуз.

Лил дождь, шумел ветер, а Мишка стоял, будто нищий, около паровозной подножки, держа в руке старый отцовский картуз. Когда подошел машинист с зажженной паклей и багровый свет, потрескивая на дожде, упал на Мишкино лицо, вырывая его из темноты, Мишка громко сказал:

— Дяденька, миленький, пожалей меня христа ради!

Машинист не ответил.

И опять Мишка стоял.

Лил дождь, шумел ветер, стучали молотками по колесам, а он с непокрытой головой, дрогнущий от холода и отчаяния, жался около паровозной подножки. Опять показался машинист с зажженной паклей, и опять Мишка схватил его за руку:

— Дяденька, пропадаю я здесь!

Машинист остановился:

— Ты кто?

А Мишка и сам не знает, кто он теперь: мальчишка голодающий из Бузулукского уезда. За хлебом поехал в Ташкент, а товарищи бросили его, и в вагон никто не сажает. Нельзя ли с ними пристроиться как-нибудь? Он заплатит маленько, если чего надо: ножик есть у него и деньгами тысяча рублей.

— Подожди! — сказал машинист.— Кондуктор сейчас придет, его проси хорошенько.

Мишка встал на колени, протянул вперед руки и голосом отчаяния, голосом тоски и горя своего мучительно закричал:

— Дяденька, товарищ, христа ради посади, пропаду я здесь!..

Машинист не ответил.

Долго ползал под колесами, стукал молотками, потом ушел на станцию.

Лил дождь, шумел ветер, Мишка стоял около паровозного колеса, мучая себя нерешительностью, и вдруг, никого не спрашивая, полез на паровоз. Согрел немножко спину о паровозную трубу, повернулся грудью. Согрел немножко грудь, опять повернулся спиной.

К утру дождь перестал.

Стало тихо, туманно, мертво.

В бледном рассвете выступала станция, киргизские юрты за станцией.

Пришел машинист.

Увидя Мишку с посиневшим лицом, мутные Мишкины глаза, налитые страданьем, спросил несердитым голосом:

— Едешь, товарищ?

Мишка жалобно ответил:

— Дяденька, не гони меня отсюда! Замерз я всю ночь...

— Куда же ты едешь, голова с мозгами? Ведь ты пропадешь!..

Легче бывает, когда люди разговаривают, и смелости больше. Рассказал Мишка, куда и откуда он едет, немножко прихвастал: ему бы только до Ташкента доехать, там у него родственники есть. Два раза писали они Мишкиной матери и очень просили, чтобы он приехал. Если, говорит, понравится ему у нас, совсем может остаться, а если не понравится — домой вернется с билетом.

Слушал машинист, улыбался, разглядывал посиневшие Мишкины губы, неожиданно сказал:

— Идем со мной!

Не сразу поверил Мишка, а когда очутился около паровозной топки и увидел невиданные рычаги с колесами, гайки, ключи, ручки и огненное паровозное жерло, полыхающее жаром, в голодной голове вспыхнули тревожные мысли: куда он попал?

Потянул машинист одну ручку — наверху, над крышей, гудок засвистел. Повернул другую ручку — паровоз вдруг

тронулся, поплыл: сначала легко, осторожно, потом разошелся вовсю и летел вперед с такой быстротой, что у Мишки сердце заходилось и мысли в голове кувыркались. Какая сила несет их, и кто все это устроил?

На подъемах паровоз шел тише, потом опять пускался во весь дух, а машинист в черной рубашке смотрел из окна, покуривая трубочку. Другой человек подкидывал дров в огненную глотку и, нарочно подхватывая Мишку, кричал машинисту:

— Товарищ Кондратьев, бросим его вместо полена?

— Кидай! — смеялся Кондратьев.— Жарче будет...

Смотрел Мишка на новых людей с большим уважением, видел, что они шутят с ним, и от этих шуток, от паровозного тепла становилось легче, веселее. А когда товарищ Кондратьев отвернул маленький краник, нацедил из него кипятку в чайник, напился сам и подал Мишке жестяную кружку, Мишка, тронутый любовью, задушевно сказал:

— Давно я не пил горячей воды!

Кондратьев отломил корочку хлебца.

— Хочешь?

Нет, тут не корочка виновата.

Не наелся Мишка, мало было ему черствой корочки, но не хлеб согрел его радостью, а добрая ласка, хорошая улыбка на лице у товарища Кондратьева. Сидел он будто дома, на горячей печке, часто дремал, забывался, сонно нащупывал ножик в кармане, спокойно и радостно думал: «Какие хорошие люди!»

Когда стали подъезжать к большой станции, Кондратьев сказал:

— Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз в депо пойдет, на починку. Починим хорошенько его, чтобы он не дурачился у нас, опять поедем в Ташкент... Теперь уже недалеко осталось.

Мишка поник головой.

— Ты что напугался?

— Люди больно не всякие! Который посадит, который нарочно гонит.

Кондратьев похлопал по плечу:

— Не бойся, Михайла, со мной поедешь, только со станции далеко не бегай. Как пойдет паровоз из депо, свистну я тебе два раза в этот свисток, ты и беги ко мне. Понял? Не увидишь меня около паровоза — жди...

— Ну, ладно, дяденька, я так и сделаю.

— Угу!..



— А пока мужиков наших на станции погляжу, можа, кто попадется. Вы папиросы курите?

— Зачем?

— Можа, я вам папирос куплю?

Кондратьев улыбнулся.

— Если купишь мне папирос, я тебя не посажу...

На станции Мишка ласково поглядел в лицо ему, нехотя прыгнул с паровоза, присел за вагонами, разулся, вытащил оборины из лаптей, лапти растрепанные бросил, а чулки, связанные обориной, перекинул через плечо и босиком, в глубоко посаженном картузе пошел на базар. Сразу не хотелось давать большую цену за хлеб, и Мишка все приценивался у разных торговок, словно мужик, покупающий лошадь. Цены были везде одинаковые, страшно хотелось есть, особенно при виде караваев, и, поглядев в последний раз на припрятанную тысячу, купил он большой кусок ситного. Съел половину, отяжелел, раздулся, утомленно подумал: «Будет, завтра доем!»

Мимо пронесли мужика на носилках.

Поглядел Мишка на русую бороду, на синие штаны, на голые почерневшие пятки, вобрал в себя чужую печаль, погрустил над умершим:

— Все-таки я счастливый человек: он вот умер, а я еду потихоньку...

За станцией сидели мужики, бабы, девчонки — целое голодное стадо. Мишка спросил двоих мужиков:

— Вы откуда едете?

Мужики не ответили.

Мишка рассердился.

— Что же вы не скажете?

Тогда один мужик сказал:

— Ты, мальчишка, не лезь, без тебя тошно...

А другой добавил:

— Четыре дня токуем на этом месте — не до разговоров тут...

И Мишка сказал, как большой, настоящий мужик:

— Я тоже сидел не хуже вашего, в степях один ночевал, пешком шел.

— Как же ты шел?

— Шел вот, нужда заставила.

— Болтаешь не знай чего! — покосились мужики.

Мишка поправил старый отцовский картуз, начал рассказывать, как его бросили товарищи, как он ночевал одну ночь прямо в степи, а другую — в будке, и никого с ним

не было. Потом попался машинист, товарищ Кондратьев, посадил его на паровоз, поил чаем из своего чайника и хлебца немножко давал. Будь таких людей побольше, давно бы все доехали.

Рассказывал Мишка спокойно, голосом уверенным, твердым и сам от этого казался ростом выше. Мужики слушали внимательно, задние подвинулись ближе, смотрели в лицо рассказчику, а он, довольный и сытый от съеденного хлеба, помахивая парой чулок, стоял среди мужиков, как маленький проповедник, укрепляющий верой и бодростью на далекий и неоконченный путь.

Увлеченный вниманием, начал хвалиться:

— Пойду сейчас на паровоз сяду!

— На какой паровоз?

— К товарищу Кондратьеву.

И пошел.

Обернулся к мужикам, подумал: «Завидно им маленько!»

Бегали два паровоза маневровых, резко гудели свистки, отцеплялись вагоны, лязгали буфера, паровозам подсвистывали стрелочники в тоненькие рожки. Увидя кондуктора с двумя флажками за поясом, Мишка спросил:

— Это, товарищ, куда паровозы пойдут?

— К матери в штаны! — сказал кондуктор.

— Ну?

— Вот тебе и ну!

Оба засмеялись.

Кондуктор пошел дальше, а Мишка стоял на горячем рельсе босыми ногами. Мимо прошел красноармеец с винтовкой. Мишке и с ним захотелось поговорить:

— Товарищ, сколько сейчас часов?

— А тебе сколько надо?

— Два есть после обеда?

— Есть! — сказал красноармеец.— Два больших и третий маленький.

Мишка не сердился: шутят с ним, и сам он шутит. Вчера маленько напугался, нынче после пищи веселее стало. Хорошо, если бы каждый день съедать по такому куску...

Около будки стоял стрелочник с медным рожком в руке. Рожок был начищенный, светлый, а стрелочник — с большой бородой и глазами — не сердитый. Подошел Мишка поближе к нему, от нечего делать сказал:

— Товарищ, ножик не купишь у меня?

— Зачем мне его?

— Можа, годится куда.

— Ну-ка, покажи!

Прежде чем отдать ножик, Мишка поднял с земли толстую щепку.

— Порежь, попробуй, как бритва берет!..

Попробовал стрелочник — ножик острый.

— А ты его не украл?

Мишка обиделся: это же его собственный ножик, отец покойный привез из солдатов, и если бы не нужда, он бы его ни за что не продал, потому что таких ножей не найдешь, особенно здесь. Даже в Бузулуке у них, наверное, нет таких...

— В каком Бузулуке?

— Город такой, меньше Самары!

Разговаривали долго.

Ножик Мишка не продал, но не было пока и нужды большой. Кое-где он протягивал руку за милостыней, снимал старый отцовский картуз и спокойно, совсем не жалобно, говорил:

— Дайте кусочек хлебца!

Ему кричали:

— А ну тебя к чертям, мальчишка, надоели вы, как собаки!

Раньше бы Мишка рассердился, но теперь просил он не от голода, не от пустых, голодных кишок — маленько озорничал: в кармане у него лежал маленький кусочек, и ходить с ним было не страшно. Только в одном вагоне сразу два человека раздобрились: один, читавший книжку, бросил яблочную сердцевину с большим червяком, а другой, в синих очках, насыпал подол арбузных корок. Мишка обрадовался, ел арбузные корки прямо с кожурой, раздулся и, лениво шатаясь с отяжелевшим брюхом, совсем не заметил, как день наклонился к вечеру: легли вечерние тени, зажглись фонари.

Около агитпункта играла гармонь.

Из толпы собравшихся выскочил молодой мужик, ловко раздвинул круг, ударил шапкой о землю, топнул ногой, обутой в мордовский лапоть, весело крикнул гармонисту:

— Поддавай паров!

Потом и собравшимся крикнул:

— Сторонись, товарищи-ребята, сейчас буду нужду давить! Николай, тряхнем перед смертью, все равно скоро умирать будем...

Гармонь перешла на камаринского.

Хлопнул мужик в ладони, изогнулся, присел, выбросил ноги, двинулся задом на пятках, завертелся на носках, ухнул, ахнул, неожиданно сел, кувыркнулся через голову, пошел растопыркой.

— Э-эх, рассукин сын камаринский мужик, ты зачем, зачем головушкой поник?

Играла гармонь, плясал веселый мужик, а с путей несли раздавленную бабу, залитую кровью. Или нечаянно попала она под колеса маневрового поезда, или сама бросилась с тоски и голода — никто этого не знал, никто об этом не спрашивал. Увидел Мишка только голову с длинными распущенными волосами, висела она, как у зарезанной овцы, и тяжелый страх, горькая, недетская жалость сдавила Мишкино сердце. В слабом свете ночных фонарей ходил он, удрученный, смятый новыми мыслями, и везде видел надоевшее черное горе: плакали бабы, скулили ребята, злобно ругались мужики, а паровоз из депо не приходил.

Устал Мишка, клонило ко сну, но спать не ложился: уснешь — опять останешься на этом месте.

И ночь прошла, и утро глянуло мутными глазами, а паровоз не приходил. Не видно и товарища Кондратьева.

«Неужто обманул? Неужто один уехал?»

Длинной вереницей стояли вчерашние вагоны, в вагонах еще спали, спросить некого, а сам Мишка не мог догадаться: эти вагоны или другие пришли? Стало досадно и страшно. Ехал-ехал он, шел-шел — опять несчастье. Наверное, никогда не доедет и где-нибудь обязательно пропадет, потому что ошибки во всем выходят у него. Надо бы ему на этом месте дожидаться, а он ушел — гармонь прослушал.

31

Широко разрумянилось небо за станцией, и тоска Мишкина, как перед смертью, ущемила ему разболевшееся сердце. Хотел он заплакать от досады, дернуть себя за волосы, но из депо, попыхивая трубой, весело вышел отдохнувший паровоз, громко вскрикнул в утренней тишине, и сердце Мишкино запрыгало воробьем:

— Идет, миленький, идет!

Отбежал в сторону Мишка, чтобы колесами не задавило, а в окошечко из паровозной будки товарищ Кондратьев глядит, и в зубах у него вчерашняя трубочка. Увидал он Мишку, крикнул чего-то, но Мишка не расслышал, побежал по шпалам за паровозом. Обернулся паровоз назад,

стал пятиться к вагонам, стукнул их, остановился. Опять товарищ Кондратьев крикнул Мишке, шмыгающему носом:

— Ну, Михайла, едем!

Сразу зачесалось все тело у Мишки, а слова какие сказать — не найдет. Поправил картуз, поскоблил шею, громко ответил:

— Я всю ночь не спал!

Засмеялся товарищ Кондратьев:

— Ты молодец, я знаю. Лезь скорее, а то один уеду.

В это время Мишка был самый счастливый человек на всем свете.

Опять, как на прежних станциях, бегали мужики, бабы, кричали, плакали, просили посадить, а он спокойно сидел в уголке на полу, да не где-нибудь, а на паровозе, и не просто сидел, а все время улыбался. Вспомнил Сережку с Трофимом, подумал: «Вот бы сюда показаться им!»

Повернул товарищ Кондратьев рычажок — медленно пошли назад станционные постройки. Не вытерпел Мишка, вылез из уголка и, довольный, веселый и гордый, выглянул в узенькую дверь: увидел двоих мужиков, бегущих вдоль паровоза, бабу с ребенком, красноармейца, услыхал плач...

Еще быстрее побежали назад фонари, деревья, старые вагоны без колес, пеленки на вагонах, дрова, телеги, доски — в лицо глянула веселая, голубая степь. Заблестели озера в зеленых камышах, светлые арыки, опять широкая степь, опять зеленые камыши, горы, камни, песок. Глядел Мишка жадными заблестевшими глазами и в мыслях своих горячо благодарил товарища Кондратьева, который везет его будто сына. А товарищ Кондратьев, чувствуя Мишкину радость по блестевшим глазам, спрашивал нарочно:

— Ну, Михайла, как наши дела?

— Помаленьку.

— Скоро в Ташкент приедем!

— Сколько дней еще?

— Не будь остановок больших — день да ночь, а утром там...

Хотел сказать Мишка хорошее слово, чтобы понял товарищ Кондратьев, как Мишка благодарен ему, но слова такого не было на Мишкином языке, только глаза блестели, полные любви и преданности. Съел он оставшийся кусочек, не наелся, но тут же подумал: «Ладно, терпеть буду...»

К вечеру товарищ Кондратьев спросил:

— Шибко хочешь есть, Михайла?

Стыдно было лезть Мишке в глаза хорошему человеку, и он твердо сказал:

— Вы сами ешьте, разве мне напасешься?

А товарищ Кондратьев опять:

— Ничего, Михайла, сделаемся! На вот корочку, поломай об нее зубы, они у тебя молодые. Зубами не возьмешь — в воде размочи...

Не видел Кондратьев Мишкиных глаз, любящих и преданных, только голос дрогнувший услыхал:

— Благодарим покорно, дяденька!

Размякла корочка сухая в горячей воде, размякло и Мишкино сердце от большого взволновавшего чувства. Съел он корочку, выпил горячую воду и, протягивая Кондратьеву складной непроданный ножик, дрогнувшим голосом сказал:

— Возьмите мой подарочек за ваше снисхожденье!

И у Кондратьева голос дрогнул:

— Зачем мне?

— Везете вы меня, жалеете.

— Спасибо, Миша, положи в карман.

Но так горячо упрашивал Мишка, так ласково блестели у него глаза — отказаться было нельзя. Взял Кондратьев большой деревянный ножик с дырочкой в рукоятке, повесил за веревочку на один палец, помотал, улыбнулся и, высунувшись головой в окно, долго смотрел в лиловую вечернюю степь добрыми, смеющимися глазами.

Спал Мишка в эту ночь хорошо и спокойно. Во сне видел мать, Яшку с Федькой, лопатинских мужиков с бабами. Мать ему истопила баню, подошла будто к кровати, тихонько сказала: «Спишь или нет, Миша? Сходи, сынок, помойся после дороги, вот я и рубашку припасла тебе...»

Вымылся Мишка, даже попарился веничком — очень уж натомилось тело за долгий путь,— пришел из бани большим, неузнаваемым. Сел за стол на переднюю лавку, начал рассказывать про товарища Кондратьева.

«А Сережка наш как? — спросила Сережкина мать.— Ты где его бросил?» Мишка спокойно ответил: «Сережка не выдержал: положил я в больницу его, он и помер там».

Стала Сережкина мать плакать, стала жаловаться на Мишку, а мужики лопатинские говорили: «Михайла тут не виноват, умереть может всякий человек»...

Хотел Мишка на двор пойти, поглядеть хозяйство оставленное, а в избу вошел сам товарищ Кондратьев, крикнул в самое ухо: «Вставай, вставай!»

Вскочил Мишка непонимающий, увидел Кондратьева, услыхал веселый, ободряющий голос:

— Ну, Мишка, видишь?

— А чего это?

— Сейчас в Ташкенте будем.

Стукнуло Мишкино сердце, оборвалось, будто упало куда, глаза заслепило. Сначала ничего не видел, только пятно зеленое бежало вдоль паровоза, а когда паровоз пошел тише, глянули сады ташкентские, глиняные стенки, тонкие, высокие деревья.

— Эх, Ташкентик!

Мимо садов ехали чудные, невиданные — двухколесные телеги (арбы). Сытые лошади с лентами в хвостах и гривах играли погремушками. На лошадях верхом сидели чудные, невиданные люди с обвязанными головами, а от огромных колес поднималась белая густая пыль, закрывала сады, деревья, и нельзя было ничего увидеть сквозь нее.

Потом верхом на маленьких жеребятах (ишаках) ехали толстые чернобородые мужики, тоже с обвязанными головами. Сидят мужики на маленьких жеребятах, стукают жеребят по шее тоненькими палочками, а жеребята, мотая длинными ушами, идут без узды, и хвосты у них ровно телячьи.

Паровоз сделал маленькую остановку.

Высунулся Мишка, увидел торговцев с корзинками на головах, услыхал нерусские голоса. Из корзинок, из деревянных корыточек глянули яблоки разные и еще что-то, какие-то ягоды с черными и зелеными кистями, широкие белые лепешки.

«Вот так живут!» — подумал Мишка, облизывая языком сухие, голодные губы.

Кондратьев спросил:

— Ну, Михайла, рад теперь?

А он и сам не знает хорошенько: будто рад, и будто сердце сжалось — очень уж много всего.

Кондратьев успокаивал:

— Ничего, Михайла, теперь не пропадешь.

— А русские есть здесь?

— Всякие есть. Пойдешь в город, увидишь. Ты знаешь, где живут твои родственники?

Застыдился Мишка, покраснел, отвернулся в сторону:

— Знаю.

— А как они приходятся тебе?

— Родня маленько.

Мучил Кондратьев вопросами, а Мишка тоскливо думал: «Вру я тебе! Неужто не видишь ты?»

В городе, на станции, взглянул он в последний раз на товарища Кондратьева, низко поклонился, заморгал вдруг глазами, из которых неожиданно покатились слезы, душевно сказал:

— Ну, дяденька, благодарим покорно.

— Ничего, Миша, ничего, не кланяйся. Устраивайся хорошенько!

— А вы опять приедете сюда?

— Я всегда тут езжу...

— Ну, прощайте пока, можа, не увидимся.

— Прощай, Миша, счастливый путь тебе.

Выпрыгнул Мишка из паровоза, перекинул чулки через плечо, оглянулся, еще раз поклонился товарищу Кондратьеву и, озираясь на каменные здания, горячие от солнца, на высокие деревья, покрытые пылью, маленькой каплей влился в людскую гущу. Сунул руку в карман, а ножик... Вон он...

— Что такое?

Сначала Мишка удивился, хотел бежать к



паровозу, потом облегченно подумал: «Разве возьмет такой человек!»

На станции лежали мужики, бабы: голые, полуголые, черные от ташкентского солнца, больные, умирающие. Поглядел Мишка издали, подошел ближе, постоял, подумал: «Неужто и здесь хлебом нуждаются?»

Вышел.

Робко направился в зеленую улицу с высокими деревьями, остановился.

Запрокинул голову, разглядывая сучкастое дерево, засмотрелся на чернобородого мужика, едущего верхом на маленьком жеребце, и вдруг испугался: навстречу шел какой-то человек или не человек: руки, ноги видно, голову, а спереди вместо лица — черная занавеска[1]. Отошел Мишка в сторону от невиданной диковины, поморщился, выпячивая губу, и снова медленно двинулся по узенькой зеленой улице в пыльный, сухой, горячий город. Долго чернела голова в большом отцовском картузе, долго белелись чулки, перекинутые через плечо. Вот остановился, поглядел в грязный, пропыленный арык, опять пошел, повернул за угол и скрылся...

32

Поздней осенью, в ясный теплый денек, на маленькой станции, между Бузулуком и Самарой, остановился ташкентский поезд. Из вагонов, с вагонных площадок попрыгали мужики. Поезд стоял недолго. Когда вагоны двинулись дальше, деловито постукивая колесами, на твердом подмороженном песочке, рядом с рельсами, горкой лежали сложенные мешки привезенного хлеба, помеченные крестиками, палочками, кривыми, неровными буквами.

На двух мешках, весом пуда по три, было написано химическим карандашом: «Мих. Додон».

К мешкам подошел плотный загоревший мальчишка в большом разорванном картузе, внимательно оглядел завязки на мешках, потыкал мешки пальцем, самодовольно раздул черные, немытые щеки.

По высокому ясному небу побежала синяя тучка, зацепила солнышко одним боком, бросила легкую тень.

Плотный загоревший мальчишка широко, по-мужицки расставил ноги, обернутые тряпками, спокойно и важно поглядел на два мешка, крепко завязанные двумя узлами,

---

[1] Черная занавеска — паранджа.

хватил шмыгающим носом крепкого осеннего воздуха, кашлянул, тряхнул головой.

— Холодно как у нас! Наверно, морозы по ночам пошли...

Это был Мишка.

В Ташкенте он долго ходил по базарам, ночевал под заборами, валялся около грязных арыков, думал, совсем умрет — брюшная болезнь пристала к нему: целыми днями понос мучил, и кишки выворачивало наружу от гнилых подобранных яблок с персиками. Но все-таки не пропал он в тяжелые дни, вытерпел, перенес: и вошь, и грязь, и брюшную болезнь... Проел ножик с ремнем, подбирал гнилые яблоки, протягивал руку за милостыней, и все это ему надоело, опротивело,— такими делами зерна не привезешь, а Мишке нужно зерно, чтобы самому посеять, хозяйство спасти...

Встал он на работу в садах у богатого узбека, встретил бузулукских мужиков и ушел с ними работать в степь. Молотил пшеницу, резал камыш, джугару[1], заработал два мешка, пуда по четыре, два пуда отдал за провоз, проел дорогой, не желая милостыньку клянчить, и вместе с мужиками вернулся в родные края.

Лопатинских на станции не было.

Когда к мешкам подъехали две телеги из соседнего села и мужики погрузили свой хлеб, Мишка сказал возчикам:

— Кладите и мои мешки, я маленько заплачу за это.

— Тяжеленько будет! — заупрямились возчики.

Мишка развел руками:

— Чего тут тяжелого! Пудов шесть — не больше. Доедем потихоньку, торопиться некуда, а вам все равно мимо нашего села проезжать.

Круто выгнулись лошади костлявыми спинами, знакомым скрипом запели колеса, крякнули лубочные телеги, и мешки, нагруженные тяжелым желтым зерном, тихо поплыли по узенькой полевой дороге в прозрачную тишину опустевших полей.

Мишка шел рядом с мужиками позади телег, жадно оглядывал бугорки, долинки, суслиные норы, думая о матери: «Жива или нет?»

Окинул он взволнованными глазами голые, умершие поля, подержал на ладони твердый комышек земли, поднятый с незасеянной десятины, вздохнул:

---

[1] Джугара — кормовое растение.

— Почем у нас лошади теперь, если купить?

Дома его встретила пустая, притихшая изба с зелеными стеклами в маленьких окнах. Со двора, из отворенных ворот, глянула мелкая кудрявая травка, высокая лебеда у плетней и брошенная почерневшая дуга колечком вверх.

Мать не выходила встречать.

Не выбежали и Яшка с Федькой.

Мужики-возчики снесли на руках во двор Мишкины мешки с пшеницей, положили на завалинку под окошком.

И опять никто не выходил встречать приехавшего.

Дрогнуло сердце у него, в глазах потемнело.

Вылез дедушка Игнатий из своей калиточки, приставил ладонь к глазам, разглядывая телеги с мешками, слабым голосом крикнул:

— Пособье, что ли, кому?

Кто-то поглядел из окошка напротив.

Отсыпал Мишка возчикам зерна за подводу, подбежал к сухонькому мотающемуся старику:

— Дедушка, а наши где?

Уставился дедушка Игнатий тусклыми непонимающими глазами, обнял бороду дрожащими пальцами.

— Постой, постой, откуда ты?

Подошли две бабы, пощупали мешки на завалинке, подобрали два упавших зернышка, протяжно сказали:

— Батюшки, чего он привез!

В пустой почерневшей избе, на голой кровати, под мертвыми глазами двух икон из переднего угла лежала хворая мать.

Яшка с Федькой умерли.

Наклонился Мишка к хворой матери, тихонько сказал:

— Мама, встань, приехал я.

Испугалась и обрадовалась мать, слабо пошевелила губами:

— О господи, Мишенька!

— Хлеба привез я, мама, тебе!

Вынул он из кармана зачерствевший кусок белого хлеба, горсть насушенных яблок, сунул матери в холодную руку.

— Держи, мама, ешь!

— Живой, что ли, ты, сынок?

— Живой, мама, не бойся!

Стоял Мишка около матери, черный, большой, неузнаваемый, а она сухими пальцами гладила его по щеке.

— Ах ты, милый!

Потом он долго ходил по опустевшему двору, заросшему кудрявой травкой. Увидал сухой лошадиный помет, вспомнил про лошадь: покупать придется. Увидел гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей соломке, грустно вздохнул: заново придется налаживать ему все хозяйство. Лошади нет, и курицы нет...

В худую крышу сарая залетел воробей уцелевший, попрыгал на перекладине, нахохлился, задумался, поглядел прищуренными глазами на Мишку.

Задумался и Мишка, глядя на воробья. Поднял дугу почерневшую, поставил в угол, встал около мешков с пшеницей, твердо сказал:

— Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться...

(1923)



К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Для среднего возраста

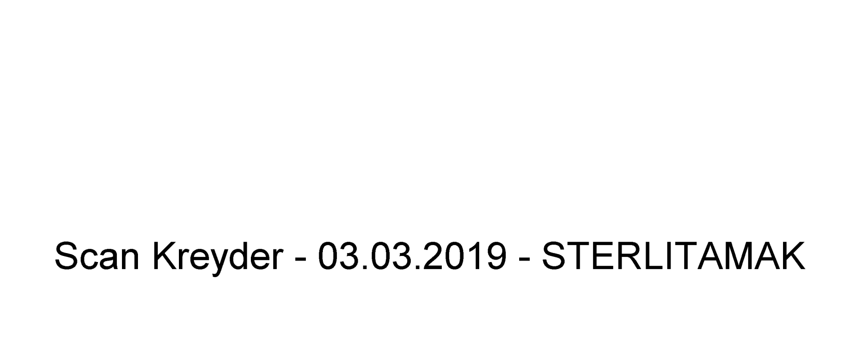
Александр Сергеевич Неверов

ТАШКЕНТ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

Повесть

ИБ № 6494

Ответственный редактор *В. М. Писаревская.* Художественный редактор *С. И. Нижняя.* Технические редакторы *Н. Г. Мохова* и *Г. Г. Седова.* Корректоры *Л. И. Дмитрюк* и *И. Н. Мокина.* Сдано в набор 31.08.82. Подписано к печати 17.01.83. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бум. тип. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,88. Усл. кр.-отт. 6,09. Уч.-изд. л. 6,2. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1548. Цена 35 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».


Scan Kreyder - 03.03.2019 - STERLITAMAK

35 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»